



Борис Черных

Есаулов сад

«Европа»

Черных Б.

Есаулов сад / Б. Черных — «Европа»,

Писатель слагает своим героям дивный венок благодарности за уроки свободы и радости посреди безумия падающих обществ и опять, как великие его учителя и предшественники по русской литературе напоминает, что свет растет из страдания. И это лучшее сопротивление всем карательным устремлениям исторической неправды, спокойное противостояние всем политзонам и злым трубам хамской власти «подавляющего большинства».

Содержание

Прямо пойдешь...	5
1. Рассказы	7
Плач перепелки	7
Остров Дятлинка	16
Мазурка	23
Месяц ясный	30
Гибель Титаника	42
2. Из ранних рассказов	49
Люся выходит замуж	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Борис Черных Есаулов сад

Прямо пойдешь...



Как заботлива Россия к своим лучшим детям, к писателям своим. Как бережно устраивает их судьбы, награждая порывистой душой, острым чувством чести, беспокойным нравом и любящим сердцем. И как обдуманно складывает историю, чтобы ее поэтам хватило материала: деспотии, восстания, мятежи, Кавказ, ссылки, дуэли, изгнания.

Отойдет одна пора, родятся новые поколения. Им – свои революции, войны, великие стройки с великими неправдами или духовные параличи, которые хуже бега. И опять насилие, лагеря, ссылки, запоздалые реабилитации. Будто мачеха-история ждет от них усталости, ожесточения, капитуляции. А они держатся за матушку-Родину и в свой час переносят все – жадно строят, восстают против зла, сидят по лагерям. И все ищут свободы и правды, все ищут Родине чести и со всех перепутей идут прямо, туда – где голову сложить.

И вот чудо – поперек жизни, но вдоль русской правде – их литература горит светом и верой!

Борис Черных – писатель этого рода. Его сжигает русское желание воли и справедливости. И сто раз осмеянный вопрос «*Что делать?*» всегда выходит у него призывом к этому самому делу. Ему в молодые лета хочется умной здоровой партии, и его по этому самому исключают из нее в 1966 году. Ему видится счастливая детская республика Советов учащихся в малой школе на берегу Охотского моря. Но школа скоро умеет освобождаться от республиканских мечтателей. Ему хочется книжного товарищества под светлым знаменем друга молодости Александра Вампилова – так не угодно ли проверить законы товарищества пятью годами строго режима в политзоне на реке Чусовой?

Мы были с Борисом недавно в той его камере, в прогулочном дворе зоны полтора на полтора метра с колодезной высотой, где небо забрано колючей проволокой, так что коли и увидишь снизу редкую птицу или облако, то и они покажутся такими же невольниками. Этот страшный ящик короткой свободы обит ржавым железом, которое каменеет в мороз и плавится в жару, заливается дождем и снегом, чтобы и минутная вольная мысль была скручена смирительной рубашкой тесноты.

Он вернется оттуда в 87-м году. И, слава Богу, «ничему не научиться», потому что вскоре созданная им в Ярославле газета «Очарованный странник» тотчас станет лучшей газетой русской провинции, где первой будет все та же мысль о правде мысли и красоте Родины. И о газете будут благодарно говорить Солженицын и Струве. Виктор Петрович Астафьев позовет его на первые чтения в Овсянке и речь Бориса Ивановича будет прямо и стремительна как во всякий час жизни. Так будет и потом, когда он вернется в родной Благовещенск, где, конечно, тоже тотчас затеет газету. На этот раз это будет «Русский берег», и он опять соберет лучшие силы. И берег этот будет подлинно русским с памятью о нашей европейской ответственности за человеческую судьбу мира.

Но что чертить биографию, когда перед читателем книга?

Там Никольская церковь может стоять на площади Лазо и «две святости» уживутся в правильно понимающем мир человеческом сердце. Там слово печально и нежно, а душа открыта и не стыдится беззащитных слов, как это бывает только у внутренне очень храбрых людей. Там герои любят с романтической яркостью, потому что они дети русской литературы, которая никогда не уступала низости и коварству жизни, не давала этой жизни отговориться «сложностью и темнотой времени» и тем обманчиво извинить себя и дезертировать в ложь и предательство.

Писатель слагает своим героям дивный венок благодарности за уроки свободы и радости посреди безумия падающих обществ и опять, как великие его учителя и предшественники по русской литературе, напоминает, что свет растет из страдания. И это лучшее сопротивление всем карательным устремлениям исторической неправды, спокойное противостояние всем политзонам и злым трубам хамской власти «подавляющего большинства».

Он поднимает правду и любовь, как его албазинские казахи предки в половодье поднимали над стремниной детей и спасительные образа, чтобы однажды навсегда выйти на твердый берег и встать высоко вровень со своей великой историей и стоять с честью как подобает стоять русскому человеку в райском саду наконец понявшего свое назначение перед Богом мира.

Валентин Курбатов

1. Рассказы

Плач перепелки

Готовясь к ночи, она говорила:

– Мальчик мой будет лучшим мальчиком в Урийске.

– Что значит лучший? – спрашивал предполагаемый отец.

– Ну, он не станет лгать. Вы, мужчины, лжете на каждом шагу. Нужды нет, а лжете. И он будет любить свой дом. Вы любите забегаловки или чужие дома. А мальчик мой...

Предполагаемый отец раздевался донага с некоторым сомнением, в расчеты его не входил мальчик, да еще мальчик невиданных добродетелей. Он шел на зов этой женщины, не желая отягощать себя мыслями об отцовстве. Он просил и ее не загадывать вперед, а жить часом, ночью и еще одной ночью, если им не надоест быть вместе сорок часов кряду; и хватит ли сил на большое, неукротимое ее тело. Качала головой и она, сбрасывая одежды: ох, не то думалось, не то мечталось, когда она вызревала и наконец поняла, что быть матерью и ей.

– Ты чего, Верк? – предполагаемый отец потягом звал ее к себе, она с охолонутым сердцем переступала черту; дальше, за чертой, поезд шел стремительно или с долгими остановками – в зависимости от мощности локомотива. Мелькали полустанки и огни городов; они выскакивали на перроны, покупали соленые грибы и омуль, позже сельдь и обыкновенных бычков, свежую зелень, вдыхали по глотку воздуха, целительного после душного купе утлой ее комнаты, снова шли в объятия друг другу.

Она вслушивалась в музыку этих ночей. Когда музыка была осенней, с размеренным ненастьем, ей думалось: сейчас творится будущий ее сын. А если музыка была бравурной, напоминающей воинский оркестр, значит, опять не повезло и мужчину надо сменить, заплатив ему дополнительной ночью или одним часом дополнительной ночи, ниче, она и так одарила его через край, век бы не знать этих одариваний и этих ночей.

И вновь подступало к гортани благодетельное одиночество, она возвращалась к любимому, к иконописному лику его на стене. Они сфотографировались в последний день, в маленькой мастерской на Сталинской. Он сел в кресло, она встала рядом, он поднял взор, фотограф щелкнул, запечатлев навеки юношу восемнадцати лет с печатью отвержения на челе и ее, пречистую деву Веру.

Зная час отправления, они просили родителей не трогать их, не прикасаться, не звать пить и есть. Забыть о них. Он оставил завод, а она школу, где доучивалась в десятом, девичьем, классе: они пошли по городу, к Умаре. Умара разлилась, приглушив хор лягушек в лугах. И громко плакала перепелка в залитом половодьем орешнике под обрывом. Беспросветность нарастала, они снова шли по улицам, прохожие всматривались в лица его и ее. В Есауловом саду он хотел угостить ее морсом, она взяла стакан и захлебнулась. Он отбросил стакан, прижал ее, она затихла. Они еще не расстались, но кто-то развел их руки и отдалял, развенчивал их союз. Он припас в дровянике охапку сена, оно пахло медуницей. Она открыла всю себя ему, но он был так слаб и неумел, что сокровенная тайна ее осталась тайной. Проводив его, – она побежала за эшеленом и отстала, – она вошла в дровяник, заперлась, упала на топчан, замычала, ерзая по примятому сему, доставая, вынюхивая сквозь настой медуницы его девственный отроческий запах. Каждое лето, много лет подряд – даже родив мальчика – она приходила к дровянику, отпирала амбарный замок, навешивала крючок изнутри, ложилась ничком на доски и вдыхала давно канувший запах их непорочной любви.

Его увезли на восток. Она молилась, молитве ее обучила бабушка, чтобы японец не прянул. Японец не прянул, но прянули мы. Накануне в Айканове сняли с платформ казачью дивизию

зию, дивизия прошла на рысях, урийских девок не успели напугать кавалеристы, и все время двигались составы, крытые брезентом, туда, к Амуру и за Амур, а Вера прогоняла слухи о войне. Августовское сообщение по радио застало ее врасплох, она кинулась к бабуле, уткнулась в иссохшую грудь, запричитала.

– Что ты, Верочка?! То баловство, а не война. Уцелеет твой Вадик, – но Вера давилась плачем, растелепой ушла домой. Дома она помыла лицо холодной водой, заплела косу, встала вполоборота к окну и заговорила с таинственными силами.

Я расскажу Тебе все без утайки, – сказала она, – если где я сойду, пусть сгорит этот сарай и я сгорю в нем. Мы познакомились с Вадиком детьми. Нас привели в девятую школу после четвертого класса, позвали в просторную комнату. Я увидела мальчика в застиранной косоворотке, искорка металась в его глазах. Я высвободилась из руки мамы, подошла к нему и спросила, как его зовут. Он младенчески назвал себя: Вадик. Мы сели за высокую парту, ноги наши потеряли опору, за этими партами в первую смену сидели восьмиклассники. На уроке, твердо знаю, на первом или на втором, я поняла, что он смотрит на меня. Я посмотрела ему в глаза, он не отвел взора. Никто никогда, Господи, ни тогда, ни позже, так глубоко не смотрел на меня. Я не смогла слушать учительницу, я думала о нем и о нас. Он будет садовником и будет жить в саду, на окраине города, в Ставровском предместье. Однажды я приду к его дому, до утра промерзну у калитки, ночью к одинокому мужчине войти неприлично, а утром постучусь, взлает овчарка, он выйдет и спросит: «Что вам угодно?» – «Мне угодно видеть тебя». – «Ах, это ты. Входи, Верочка. Карай, место!» – я войду, скину легкое пальто, мне шила его на вырост бабуля, и скажу: «Я хочу быть твоей вдовой».

Вот что натворила я тогда, двенадцатилетняя девочка, ведь именно это я и сказала: «Я хочу быть твоей вдовой». Он ни капельки не удивился, он провел меня к печи. Я прижалась лопатками к ней. Он открыл дверцу, пахло жаром. Учительница что-то рисовала мелом на доске, пел дрозд на ветке за окном. И

Вадик ответил мне: «Хорошо, ты будешь моей вдовой», – что за напасть, скажите, он след в след пошел за мной, за моим словом.

Не сразу я поняла, что таилось в скорбных глазах мальчика, с которым я делила одну парту. Мы стали гостевать, он приходил к нам домой, а я – домой к ним. Однажды он спросил, кто это на портрете в моей спальне. Отец? Да, отвечала я, то мой канувший папа. Уже три, четыре, нет, пять лет мы не получаем от него писем, а наши письма тонут в проруби, так мама считает. «Наши письма тонут в проруби». Вадик молча и нервно ушел от нас. Пришел мой черед спросить, а где его отец. На фронте, отвечал он. На каком фронте, наивно спросила я – война с германцем надвинулась, но не разразилась. На том же, что и твой отец, зло отвечал он. И судьба повязала нас. Вадик рассказал мне, как вслед за отцом брали Костю. Костя работал в паре с отцом на паровозе. Ночью отца увели прямо с рейса, под Шимановской, начальник станции сказал Косте: «До Урийска доведешь без машиниста состав. Напарника-парнишку мы тебе дадим», и отца увели, а Костя остался один.

Через день в локомотивном депо Костя угорело выпалил, что не верит, «и никто не должен верить, что отец мой враг». Собрание угрюмо молчало, каждый боялся за себя, за близких, поэтому все молчали. Вскоре Костя исчез тоже. Мать не выдержала второго удара, речь ее повело, мы угадывали по отдельным словам, что именно она пытается сказать. Лицо Вадика в те дни обуглилось. Я помогала ему полоть огород, варила обед. Мать немо благодарила меня, гладила по плечу, преданно, как прирученная галка, смотрела в глаза.

Но началась война, по Урийску прокатился голод. Вадик пошел в паре с Венкой Хованским, переростком, на распиловку дров, но их редко нанимали богатые. Когда Венку призвали в армию, Вадик вдруг отдалился от меня, стеснялся есть у нас, он сжался и съезжился, и почему-то все реже появлялся на Комсомольской. Я металась подранком.

Однажды на летней толкучке мама пыталась продать отцов костюм и в толпе увидела Вадика, ей показалось, он что-то выменивал. Надеюсь, мамочка, ты не кинулась ему на помощь. Да что ты, Вера, я же понимаю – раз мальчик пошел в торговые ряды, значит дело худо, я и притаилась, чтобы он не увидел меня.

В воскресенье я пошла сама к толкучке, шныряла по рядам.

Наш базар, Господи, благословенное место. Там нет знатных со Сталинской улицы, а все народ простой, с Мухинской, с Шатковской, с Переселенческой, из предместья Ставровского. Таким он остался до дня нынешнего, вперемежку стоят здесь скорняки и китайцы-огородники, краснодеревщики и швеи. Слава Маленького портного взошла на этой толкучке. Мы, дети, любили пестрядину Урийского базара, его удивительные запахи – деревенского соевого масла и наскоро выделанных шкур, но любили все-таки издали: дети рабочих, мы немножко презирали торгашеский дух.

Я спряталась за телегой с дегтярным духом. Скоро я увидела Вадика с кирзовой сумкой в руке. Он прошел в междурядье, где торговали озерной и речной рыбой, рыбы сегодня не было, и мясом, мясо стоило втридорога, все приценивались, но редко кто брал кусок стегна. Вадик сказал какие-то волшебные слова волоокой женщине, она свысока посмотрела на Вадика и оглянулась. Вадик терпеливо ждал. Женщина произнесла условное. Вадик полез в сумку, вынул газетный сверток, протянул женщине, та взвесила сверток на ладони и выдала Вадика крохотный кус говядины. Вадик схватил его и ушел, опустив голову. Через день он все-таки забрел к нам, я молчала, обиженная его скрытностью. Ничтожная тайна торговой сделки заставила меня в воскресенье снова пойти к дегтярной телеге, телеги не было, тогда я скараулила Вадика задолго до мясного толчка, кралась следом и встала за спиной, когда он чуть наклонился и сказал:

– Уговор дороже денег, тетя?

Женщина молчала, поджав губы.

– Ну, тетя, что же вы, а?

– Пошел вон, – сказала она сквозь зубы.

Вадик побледнел и едва не побежал, но узнал меня и сразу все понял.

– Эх, ты, – вздохнул он. Я походая, как мать, погладила его по плечу.

Мы вышли из рядов.

– Погоди, – сказал он, ушел и вскоре вернулся, а, вернувшись, пристально стрельнул мне в глаза.

– Мы так не договаривались, – сказала я. – Я все пойму. А молчать я умею не хуже тебя.

– Да, умеешь. Но когда ничего не знаешь, молчать легче.

Это взорвало меня:

– Ты уматный! Ты сопливый ротан!... – урийские оскорбления выскакивали из меня и отскакивали от него. Он был спокоен, как муж, на которого привычно кричит жена. Я подумала: мы муж и жена, он делает мужское дело, а я встречаю в это дело. Но роль надо довести до конца, и я сказала:

– Не приходи домой.

– Чего-о?! – протянул он.

– Я выгоню тебя, – прошипела я.

– Ну, я и не приду, – он боком повернулся и боком пошел от меня.

А я шла – я шла следом. Я шла и думала: ну вот, я стала его женой, а мне еще учиться в седьмом классе и дальше, но я не могу его оставить, я не сдую, если он сейчас исчезнет насовсем. А потом, что и кто я без него? Соломенная вдова...

Но став в тот день мужем и женой, мы чувствовали одинаково, он должен был оглянуться, чтобы сказать мне, идущей следом: ладно, черт с тобой, я не злюсь на тебя, – и он оглянулся. Я

встрепенулась и бросилась к нему. Он опустил руку в кирзовую сумку, достал тонкий ломоть сала. «-Этого нам с мамой хватит на неделю. А там я снова пойду на промысел».

– Ты возьмешь меня, – сказала я.

– Ночью тебя не отпустит мать.

– А тебя отпускает?

– Летом, ты знаешь, я сплю на чердаке. Мама ничего не знает.

– Я тоже буду спать на чердаке, – сказала я, но вспомнила черноту нашего чердака, шорох летучих мышей, запах пыли. – Или в летней кухне, да, лучше в летней кухне.

– В летней кухне тебя не застанет мать. Что тогда?

– Один раз сойдет, – постаралась солидно сказать я.

– Ты должна быть в черной рубаше и штанах. Рубашу и штаны я добуду. Но уговор...

– Дороже чего? – ехидно спросила я.

– На твоём лице тайна, – сказал он. – Ты провалишь меня, Вера.

– Вадик, – взмолилась я, – ты пойми, я женщина. Ты наставляй меня.

Через день я упростила маму, взяла Барсука, ленивую дворнягу, мы устроились в летней кухне, слушали стрекот кузнечиков. Прилетела ворона и оглашенно каркнула. Я караулила маму: придет проводить меня или не придет. Как-никак мне шел четырнадцатый год, я становилась объектом, так сказала наша мама бабуле: «Верочка становится объектом», – бабуля рассмеялась: «Пора. Раньше девка в четырнадцать лет снопы вязала. Но у нашей Верочки есть суженый». – «Ох, – сказала мама, – суженый дышит на ладан». – «Выправится. Мальчишки как утята гадкие, зато потом лебеди».

Мама не пришла. Утром, по холодку, я пролила теплицу и сварила картошки. Мама похвалила меня. Днем явился Вадик, церемонно поклонился маме, а потом, при маме же, сказал, что с Кешей Федоровым, новым приятелем, уйдет на сутки рыбалить; если повезет, они снимут с переметов пяток щук. Мама сказала: «Угости нас, Вадик, ухой». – Да, я принесу вам щуку. Если повезет.

Он усыпил бдительность мамы. В полночь он присвистнул, я вышла огородам к улице Подгорной. Мы быстро пошли к вокзалу и за вокзал, миновали полотно железной дороги, спустились с насыпи к болоту. Поплутав в тальнике, мы вброд вышли к островку. Вадик сказал: «Переоденься и платье оставь здесь». Я надела его штаны, впервые в жизни опробовав мужскую одежду, штаны оказались тесными в бедрах. Зато в рубаше я утонула. «Костина рубаша», – сказал Вадик и растворился в потемках. Вдруг поезд с грохотом прошел над головой, и снова повисла тишина. Но послышался всплеск, я увидела предмет и человека, толкающего предмет шестом. Я перепугалась и чуть не побежала, пока не поняла: да это же Вадик. Он подогнал плот к берегу, протянул руку, я встала на крепкие шпалы, Вадик оттолкнулся, мы пошли в зарослях кругами, плот держал нас слабо, но мы были босы, вода, заливавшая ступни, казалась теплой. Простонал кулик. Вдруг мы уперлись в высокий сплошной заплот. И я поняла, куда мы шли – к товарным складам. Вадик разделся, сполз в воду, нащупал нижний, затопленный край заплота и мгновенно потонул, следом я услышала с той стороны заплота: «Не бойся». Я восхитилась – как просто. И никто этого не знает во всем Урийске. Мне показалось, Вадика я жду вечность. Но всхлипнула вода, я услышала: «Держи», опустила руку в воду и нащупала сетку, взяла ее, следом вынырнул Вадик. Он вскарабкался на плот, мы поплыли назад. Вадика начал бить озноб, но на берегу он оделся. Я ощупала вязанку-авоську, в ней как рыба в сети трепыхались три печатки хозяйственного мыла. И это все, горько подумала я. Бессонная ночь, болото, в котором можно утонуть, грохочущие поезда, переодевание – и три печатки скользкого хозяйственного мыла.

На Подгорной у огородного прясла Вадик сказал: «Там больше ничего нет. Но если б и было, все равно б я взял это. Мыло в воде не испортится за две минуты. А в продаже его нет. Одно плохо, я совсем не умею торговаться».

Мы дожили до воскресенья, сошлись днем возле толкучки. Я достала зеркальце и подвела брови, взяла кирзовую сумку и пошла в торговые ряды.

Протиснувшись сквозь толпу к рыбным рядам, я подошла смело к седому дядьке, приценилась. Он осмотрел меня и назвал цену. Я сказала: «За эти десять окуней я заплачу мылом». – «Чем, дочка, заплатишь?» – «Три печатки хозяйственного мыла». Он подумал и вздохнул: «Ты, дочка, бьешь меня под дых». Я пошла от него, он крикнул: «Постой». Я достала сверток в газете, он понюхал его. «Бери», – протянул он царственным жестом. Я побросала рыбу в сумку. Вадик сдержанно похвалил мой улов, три окуня отдал мне, хотя настаивал поделить поровну, я взяла три. Я смыла брови у криницы.

На промысле лето мелькнуло неделей. Вадик больше не взял меня в ночь, хотя я знала, сегодня он снова пойдет на плоту к товарным складам, переживала за него, но не отговаривала. А в воскресенье мы шли на базар. Я подводила черным глаза, выменивала на мыло соль и соевое масло, рыбу или кости, если не было мяса.

В июле зарядили дожди. Вадик был доволен дождями, в дождь путь к складам безопаснее, но скоро он понял, что огород на Шатковской вымокнет. Тогда он стал выкрадывать по пять, по шесть печаток мыла. Поднявшись на чердак по хлипкой лестнице, он показал тайник под слоем шлака, там хранилось мыло: «К зиме, зима будет остудная».

Дожди заливали Урийск, вода на болоте вспучилась. Вадик стало трудно подныривать под заплот, а там, у стены склада, нырять второй раз, под стену. Огород вымок. Мы прорыли глубокие борозды, пытались спустить воду в канаву, не помогло. Ничего, сказала я, на Комсомольской картошка уродит, у нас посуше, мы поделимся с вами.

В конце лета мы не выдержали и шиканули. Я поменяла мыло на деньги, то есть продала его. Вадик купил розовое мороженое, угостил меня сидром в Есауловом саду. Мы сходили в клуб обороны, купили билеты на «Морского ястреба». Этот фильм про английских моряков и девушку на берегу, она остается и не знает, вернутся ли они из боя с немцами.

– На этой дубовой скорлупке
Железные люди плывут.
...
Отходит от берега
Ястреб морской,
Нам девушка машет рукой, —

они уходят, в синих шапочках. И не возвращаются. Я наревелась.

В седьмом классе нас никто не дразнил женихом и невестой, все привыкли, что мы неразлучны. Я думать не думала, что в сентябре Вадик повторит летний поход. Когда он не пришел в школу, я понеслась после уроков к ним домой. Вадик метался в постели. Мать бесшумно двигалась по комнате, она натирала тело Вадика уксусом, кутала в мокрые простыни, отпаивала клюквенным соком. Жар не спадал. Я побежала за врачихой. Врачиха выругала нас: «Почему не позвали сразу? Крупозное воспаление легких». Но Вадик устоял, только высветился как свеча и усох.

Снова, но уже раз в месяц, я выносила на базар мыло, почти не остерегаясь знакомых – увидят, донесут маме. Да и мама кажется что-то поняла, но молчала.

На лето, которое пришло в свой черед, Вадик устроился в Ставровском саду, мы объедались малиной, вялили и сушили груши, комнаты пропахли грушевым настоем. Можно заготовить варенье – не было сахара. Вадик повздыхал и дважды повторил прошлогодний подвиг, наши мамы наварили варенья, спустили в подвалы. Каникулы казались безоблачными, в школу идти не хотелось. Долгое бабье лето выстояло с крепким запахом дыма – горели окрестные

леса. Внезапно упавшие обильные снега смяли пожары, а зима была мягкой, будто из лесов наносило теплом пожарищ.

Изредка приходили Костины письма. Отпросившись из лагеря на фронт, он угодил в госпиталь, мыкался по обозам – рана не заживала – и в запасном полку, но воевал снова. Взяли в армию Кешу Федорова. Странно, Вадик всегда дружил со старшими ребятами, командовал ими, но про походы к товарным складам он не рассказал Кеше, боялся, будет Кеша презирать за воровство. Перед армией Кеша слесарил на Автозапчасти, ходил страшно уверенный в себе. Стали приходить треугольники и от Кеши, он служил в танковых, горел дважды, получил медаль и орден, потом пропал без вести, и отыскался, когда Вадик сам ушел в армию.

После восьмого класса Вадик пристроился на Кешино место слесарить. Работа выматывала, однако походка Вадика остепенилась, выправилась. Бабуля как-то увидела его после завода и сказала маме: «Ну, что я говорила, лебединая статья, у Вадика-то. Гадкий утенок преобразился».

Вадик все еще боялся притронуться ко мне, застенчиво смотрел как, подобрав подол, я мою полы в их доме, порывался помогать, я прогоняла его на кухню. Я прикасалась к щеке неулыбчивой его мамы и уходила, мать немо приказывала: «Вадик, доведи Веру до дому, а то ей страшно, да и ты переживать будешь». Мы выходили под звезды, россыпь их казалась тыквенными семечками на темной сарже, подымались вверх по Переселенческой. У почтамта мы слушали из тарелки репродуктора поздние известия: «Наши войска вели бои за Смоленск», «Наши войска одолели Дон», «Наши войска вернули Харьков»...

На улице Комсомольской мы прощались. Журчала серебряно цепь, опускаемая в криницу, – украинская «криница» прижилась в Урийске окончательно, когда к нам хлынул поток беженцев. Мы пили ледяную воду из бадьи, ломило зубы.

В сентябре сорок четвертого Вадик не сразу сказал, что принесли повестку в военкомат, таился он и от матери. За двое суток до отправления он вызвал меня с уроков, – пропустив год, я с грехом пополам училась в десятом. Никогда он не звал меня из школы и о школе не вспоминал, теперь я понимаю, почему: школа для него была потерянным раем. Я выскочила на улицу. Он сказал: «Вернись, забери портфель». Я вошла в класс, урок начался, я взяла сумку. «Кузнецова, ты куда?» – спросила химичка, зануду-химичку мы не любили. – «Домой». – «Ты отпросилась у Анастасии Степановны?» – «Да». – «Возмутительно. У Анастасии Степановны она отпросилась. А я, что же, манекен?» – я покинула класс. Вадик стоял под козырьком парадного подъезда. Школа наша красивая, белокаменная, с гранитными ступенями. Он стоял на гранитных ступенях, сентябрьский дождь косо доставал его русую голову, он поднял лицо, ловил ртом капли. Он набрал полный рот дождевой воды, притянул меня и из губ в губы напоил дождем. И я поняла: повестка.

Вадик, сказала я, я никогда не забуду тебя и наш сад не забуду... Какой сад, спросил он, слушая меня и дождик, слепо обивавший желтые листья молодого тополя за козырьком... Тот, в котором ты работал и жил, у тебя была большая добрая овчарка Карай. Однажды я пришла к тебе ночью... А, сказал он, сад в Ставровском предместье, я хотел бы не сторожем, а садовником в нем быть... Я не забуду пароход, которым мы уплыли из Находки и в море утопили часы, чтобы потерять время, сказала я... Пароход был трехпалубным и назывался «Можайский», ответил он, на корме тренькала гитара, кто-то пел «Гори, моя звезда»...

Боже, он прозревал несбывшееся, которое сбудется не у нас.

И не забудь товарные склады, нашу толкучку и кислый запах хозяйственного мыла, попросил он.

Запершись в дровянике, я увидела истонченное трудом и полуголодом его тело, мне стало стыдно, я была неприлично полнотелой и крупной, я припала к нему и сказала: «Вадик, я буду твоей вдовой, я никогда не выйду замуж... А когда ты вернешься, родится мальчик, мальчик

наш будет апостолом»... Вадик лежал на сене, запрокинув голову. Мальчик наш будет апостолом, сказал он, какая беспросветность и какая надежда...

Ты молчишь, Господи? Но ответь мне, почему сад в Ставровском предместье отдан другим, а не нам с Вадиком. Разве они достойнее нас?... Почему не нам позволено выйти туманным утром из залива Америка? Они достойнее нас?... Почему не нас ты одарил островом Дятлинкой? Почему Маленькому портному и юной Полячке ты отдал счастье, половиной его мы удовлетворились бы навеки? Они достойнее нас?... Но если они достойнее нас, пообещай мне малость – пусть израненный и отравленный японскими газами Вадик доплывет, добредет до Урийска, я сама раздену его и силой возьму его семя, чтобы начать род сначала...

Облегчив сердце кощунственной речью, она посулила в конце смирение. И скоро полетели треугольники и открытки с легкими пагодами, с луноликими женщинами в кимоно.

Вера хранила письма и открытки за Вадиковым портретом, в нише, и ходила, как Ли Цинчжао шепча заклинания, не поднимая слабых рук к прическе.

Когда на линкоре «Миссури» был подписан мир, Вадим поверил, что Искренний, сын ее, будет и его сыном. Диковинно – он вызнал, что Урийск наречет их сына Искренним.

Но когда он поверил в возвращение домой, давняя усталость ослабила его волю к жизни, он замолчал, тоскуя; перебирал как четки онемевшие воспоминания. Внезапно он почувствовал себя старцем, никому не нужным в этом мире. Жизнь исполнена и должна продолжаться другими, чужими и толстокожими, не надо им мешать, не надо унижаться, просить участия или милости – пусть все, чему положено сбыться, сбудется у других.

Зимой – а зима в Порт-Артуре стояла понурая – Вадик стал писать, притулившись где попало: в казарме, на посту у блокауза, на пристани. Он захлебывался словами, боясь не досказать заветное.

Он возвращал обручальное кольцо. Цензура лениво смотрела письма победителей, тайны обесценивались.

Вера читала странные – после полунемотных открыток и треугольников – на добротной лощеной бумаге – правдивые слова о том, что война есть величайшее из зол, и материнских слез никто не оплатит. И новые апостолы не спасут этот мир, привыкший к произволу и насилию, к ненависти и лжи. Свят, свят, мой муж, пиши смиреннее, тебе нельзя надсаживать сердце.

Вдруг он написал о Порт-Артуре: могилы наших матросов и офицеров на русском кладбище, той войны, распустились под дождями, кресты похилились и упали, – письма медленно шли через перевалочные базы и границы.

Получив очередное письмо, она шла к бабуле. Бабуля, надев очки, читала пришепетывая. Он у тебя старовер, говорила бабуля, и другим не будет. Вдвоем они сумерничали, приглашая на чай и его, – а его уже не было.

Письма как голуби с повязанными крыльями одолевали пространства, – а его уже не было.

Остывала чашка с затураном; посматривая на чашку, налитую для него, они ворковали вполголоса, – а его не было.

Он погиб в катастрофе, собственноручно приустроив гибель, – ремонтировал мосты студебекеров и самурайских короткорылых грузовиков, подтягивал тормоза и сцепление, потом проверял машины – поднимался по бетонной дороге к Электрическому утесу, сходил на скорости вниз, к заливам. Тринадцатого февраля сорок шестого года в семь вечера на повороте, припорошенном сырым снегом, его занесло влево, развернуло, он мог выпрыгнуть, но не сделал этого, выкручивая руль, и с утеса упал на нижние уступы прибрежных камней. Его подняли, вычленили из раздавленной кабины, он был жив. Он сопротивлялся смерти, впадал в беспамятство, но опоминался. За час до ухода он позвал Ковалихина, Ковалихин был урийский, и западающим языком продиктовал строчки, для Веры. Морща крестьянский большой

нос, Ковалихин записал без знаков препинания сплошной строкой: «В простуженном горле колодца журчанье цепи к живой бы воды окоему припасть и напиться смотрю я прощально в славянские очи твои у полуразбитой урийской криницы»...

Спустя два года Ковалихин вернулся в город, топтался под окнами ее дома, не решаясь войти, но вошел и отдал листок с полустертыми словами. Она сказала ему, жалея его: «Оставайся у меня на ночь, Ковалихин». Он остался, но увидел, что она у колодца, простился и ушел, и больше никогда не приходил.

Одолев первый приступ горя, она заторопилась замуж – до Ковалихина – норовя забеременеть, чтобы мальчик мог бы считаться и его, Вадима, мальчиком. Она шла на ухищрения, заманивая в сети инвалидов войны и вдовцов, молодых она не трогала, с молодыми она могла изменить Вадиму. Забеременеть не удавалось – в изголовье ее все время стоял он, единственный.

Возвратились, отслужив, Венка Хованский и Кеша Федоров. Тоскуя, она украдкой стучалась к ним, но в жены не набивалась, даже противилась в жены. «Что ты, что ты, – натужно говорила она. – Вот кабы родить ребятеночка. Да лучше не родить. Он подрастет, а они затеят новую войну».

Последним пришел Костя. В полуобороте его лица был Вадим, в выдохе и вдохе – Вадим – в походке, похожей на движения большого щенка. Она ездила с Костей во Владивосток, к морю, чтобы увидеть над заливом город. В поезде и по приезде все шло нормально, но прознав о морском кладбище с могилами нижних чинов крейсера «Варяг», она уговорила Костю пойти на морское кладбище, отказать он ей не смог. Там она кинулась искать среди надгробий камень с Вадимовым именем, Костя силой увел ее с погоста.

Лет пять, похоронив бабулю, она жила в тишине, служила на базе Амурской речной флотилии машинисткой. К ней сватались мичмана-сверхсрочники и офицеры, она поверила пожилому капитан-лейтенанту, скромно и целомудренно начала семейную жизнь; она спрятала портрет Вадима в бабулин сундук и оставила у матери, иногда, бывая наездами дома, смотрела в Вадимовы глаза. Но внезапно обнаружила: капитан – ее – лейтенант засматривается на юных послевоенных девиц, она немедленно дала ему отставку.

Потянулись годы, чистые и светлые, и она окончательно вырешила родить мальчонку. Может быть, войны не будет и мальчик доживет до старости, женится, она будет нянчить внуков. Но ей не везло – мужик шел разнузданный или увертливый и суетливый, не уриец одним словом. А она поставила целью от урийца понести урийца.

На излете бабьего века неверное счастье улыбнулось ей.

Она высмотрела его на стройке, куда ушла – после базы – малярить, выслеживала терпеливо, принародно сказала заветное слово; он посмотрел на нее неиспорченным взглядом, хотел рассвирепеть, но она не позволила ему сфальшивить, – чутье подсказало, что она заарканила его, значит, свирепое прикрытие ни к чему. «Ты коренной уриец, – сказала она ему. – Я тоже выросла на корню». И Коновалов – так звали его – испекся. «А Коновалов-то испекся, – решили бабы, – ох, горюн-Верка, горюн-Верка».

Она сняла избу под Урийском, тщательно вычистила песком некрашенные полы, ситцевые занавески крахмалом облила, солнечный свет прошивал ситец и гулял по избе, пока она, уняв сердце, ждала его к урочному часу. Приедет или побоится? Он приехал, трезвый и шумный, с полным вещмешком: «Я на своем довольствии привык стоять и женщину способен прокормить». Он привез вино. Вино она разбила бутыль о бутыль и расхохоталась.

– Да эт как же, а?! – багрово вскричал он. – В блиндаже без вина? Мне сто наркомовских подай к столу! Помню, на Курской дуге...

– На моей дуге, – отвечала она, – ты будешь пьян и без вина.

И день и ночь потерялись.

Он топил печь, курил, дым вгонял в загнетку, звал к окну, они смотрели на сосны во дворе. Зброшенный хутор умирал спокойной смертью. Случайные гости хутора, оборвавшие пуповину с землей, они вдыхали родимые запахи талого снега и навоза, слушали говор стариков, душа упокоенно восходила к сущему.

Так бы и тянулись праздничные часы, вслед за солнцем, – сутки, еще сутки, еще.

Но в назначенное утро он, распотрошив рюкзак, вынул печатку хозяйственного мыла и намеревался вволю похлопаться в бане, истопленной с ночи соседом, – она потянулась с белых простыней к серому кубу военного мыла и, сцепив зубы, задавила стон в подушке. Он рванулся к ней, она ослепленно целовала его, он отозвался небывалой лаской, но что-то торкало в заскорзленное его сердце – то ли мокрое от слез ее лицо, то ли память о ком-то, кто стучал и не мог достучаться в эту избу.

Она забылась сном, но скоро услышала тихую музыку и проснулась. Он, по зову, проснулся тоже. В окно ломился день.

Печь выстыла. Он разжег в печи огонь, ушел к порогу, сидел на приступке, примериваясь к тому, что скопилось в сердце и требовало исхода. Потом встал, приоткрыл дверь, набрал в легкие морозного воздуха и как на духу предложил ей союз до гроба.

– Э, не заманишь, – кротко посмеялась она, взбив седую прядь. – И у тебя дети. Я не хочу их обездолить.

Он вскипел, обложил ее грубыми словами, оделся, обрывая на полушубке петли, уехал. И уехала в город она.

Она заходила будто по делу в прорабскую к нему, он оставлял людей и наряды, жестоко смотрел в глаза, проводил открыто до Комсомольской, познакомил с детьми, такими же лобастыми, а дома молчал, сжимая виски, обдумывая как жить дальше.

Через месяц, запыхавшись, она пришла к нему простоволосой, – в дороге сронила полушалок, – вызвала из прорабской на улицу и сказала:

– Теперь прощай. Мальчик, родится мальчик, не трогай и не помогай ни мне, ни ему. Не нуждаюсь в тебе, кончилась моя нужда.

Он запалил и смял папиросу.

– А мальчик мой будет лучшим мальчиком в Урийске, – сказала она. – Он спасет этот город, погрязший в грехе.

1987

Остров Дятлинка

Федя Гладковский, толстый неуклюжий мальчик одной из Урийских школ, сильно страдал. Иные не умели решать быстро задачки или высоко прыгать у волейбольной сетки – Федя не умел ходить в строю.

– Ты что, новорожденный, что ли? – с досадой сказал ему однажды физрук. – Из строя вечно выпадаешь.

С тех пор к Феде пристала кличка Новорожденный, и жить стало совсем невмоготу.

Он уходил на берег Умары, бродил по колхозному рынку, а последней школьной весной, когда надо было готовиться к выпускным экзаменам, полюбил дальний остров Дятлинка, его раннюю зелень и пацанов с удочками на пологом берегу. Федя научился курить и пытался покровительствовать маленьким рыбакам.

Никто не прогонял Федю с острова, никто не кричал на него, никто не мешал ему видеть жизнь на материковом берегу особо, издалека: острова в отрочестве и юности будто вооружают нас подозрительной трубой, и люди, отодвинутые оптическими стеклами, становятся спокойными и неопасными.

На острове он познакомился с Женей Осипенко, она училась классом ниже. Напустив на себя бывалость – папироска в пальцах дымилась – Федор подковылял однажды к Жене и сказал почти фамильярно.

– Зимой я видел тебя. Ты была в зеленом платье, на новогодней елке. Но я стеснительный или неудачник. Хотел подойти к тебе – не подошел. А вчера...

– Что вчера? – спросила Женя, делая круглые глаза.

– Вчера я снова увидел тебя. На острове.

Она улыбнулась, и ямочки на щеках выдали ее: она была тоже рада знакомству.

Так они подружились. До последних дней июля он провожал ее домой, к родителям. Летом они валялись на горячем песке, остров Дятлинка был забит горожанами, Федя и Женя не обращали на них внимания. В июле же он объявил ей, что решил поступать в общеобразовательное училище. Пусть ни единая душа пока не знает об этом, но он докажет себе, маме и ей, Жене, что он мужчина.

– Мне ничего не доказывай, – сказала она, – на каникулах приедешь, и я сама скажу тебе все, что ты думаешь тайно про нас.

Федор уехал в Новосибирск, выдержал жесткий конкурс – никогда не подозревал он, что столько юношей любят военную профессию, – и отбил две телеграммы, матери и Жене Осипенко, обе подписал «Курсант Гладковский».

Он едва дожид до зимних каникул, ринулся – самолетом – домой. И они снова ходили по острову, теперь пустынному, белому; он грел ее руки под отворотом шинели. Женя призналась, что любит его – его неуклюжую походку («Ох, и достается мне за нее в училище!» – сказал он), лицо его, быстро теряющее мальчишеские черты, и хочет стать его женой – после, после. Она будет ждать его или приедет тоже в Новосибирск.

«И в молодые наши лета даем поспешные обеты...»

Летом, не дождавшись Федора, Женя уехала в Хабаровск, поступила в педагогический, а весной – мокрый снег падал на мостовые, бежали ручьи – он получил от Жени последнее письмо: «Милый, не терзай себя. Я стала женщиной. Прощай, милый...» – странное письмо, жестокое и трогательное.

Смертельная тоска сдавила ему виски, Федор спрятался в туалете и плакал.

Он стал молчалив и сосредоточен, шел одним из первых по всем предметам, только строевая подготовка мучила его; офицеры-наставники любили Федора за ясную голову, и курсантам он тоже пришелся по нраву. Уже на выходе, почти лейтенантом, Федор встретил в театре –

о, эти нелепые курсантские выходы в ТЮЗ! – Нину Журавлеву, влюбился; и когда разнарядка пришла в Забайкальский военный округ, Гладковский весть эту воспринял радостно – почти родные места. И Нина как-то легко и бездумно – и это-то больше всего обрадовало Гладковского (без расчета всякого, значит!) – согласилась ехать с ним.

И вот прошло семь лет и семь месяцев. Гладковский вошел во вкус уставной жизни, у начальства был на образцовом счету, дослужился до капитана.

Не однажды провожал он ребят, выслуживших срок, по домам, записывал адреса аккуратно, но писем не писал – некогда, а от них получал весточки. Некоторые просились в роту обратно, на сверхсрочную.

Но с последним призывом Гладковскому не повезло. Попали в роту четыре парня, способные и дерзкие до невозможности.

Гладковский тихонь не любил, уважал прямогу в подчиненных, но в армии должна соблюдаться мера всему. Вот этого-то лихая четверка понять не могла. Следовало отдать их в «учебку», вышли бы сержанты – не дураки. Матчасть, тактика, политзанятия – всюду они блистали.

Но жалко было таких молодцов отпускать на сторону, они, догадывался Гладковский, вносили не только сумятицу, а и некое чувство неуспокоенности. И Гладковский решил с ними заняться сам и под вечер вызвал их к себе.

Они вошли в канцелярию, заполнив ее крепко сбитыми телами. Лица из излучали ясность и здоровье. Все в них понравилось Гладковскому.

– Я хочу вам, ребята, рассказать о бегстве в Монголию барона Унгерна, – запросто сказал он им.

Это было для них неожиданно и любопытно, самый смелый попросил разрешение сесть. Гладковский разрешил.

– Итак, продолжайте, товарищ капитан – сказал один, по фамилии Подкорытов.

Гладковский понял, что инициатива уходит из его рук.

– Почему, соколики, родителям не пишете? – вдруг спросил он, знал, что почта приходит к ним редко.

– Разрешите мне? – бойко ответил солдат Маличкин, глядя капитану в глаза.

– Попробуй, – добродушно согласился Гладковский.

– Курьезное дело – писать! – выпалил Мяличкин. – Требуется дополнительного сосредоточения телесных и душевных сил.

– Разрешите, дополню? – сказал солдат, фамилия которого была Пасканов. – Главное в нашей жизни – быть готовыми к отражению неприятеля, над чем...

– Встать! – тихо приказал Гладковский, и они, не суетясь, встали. – Кругом! Подкорытов головной, остальные по порядку на выход – марш!...

Арш! Арш! – отозвалось в затылке Гладковского.

Солдаты построились в колонну и пошли к казарме. Вел их тот, что молчком отсидел и имени которого Гладковский не помнил. Он услышал:

Дальневосточная!
Опора прочная!...

Гладковский пришел домой, поиграл с Колькой, но думал о своем, сын понял это и, обиженный, ушел.

За ужином Гладковского прорвало. Он близко увидел жену – тоненькая Нина Журавлева, где ты? Нет тебя! – и эти совершенно низменные движения вилкой, эта увлеченность едой...

– Вот живем и не живем... – заговорил он. – А я ведь никогда не могу тебе что-нибудь рассказать, боюсь быть понятым не так. И ты это прекрасно знаешь, прекрасно. Мы с тобой как сослуживцы, которые давно надоели друг другу.

Жена молчала. Хотя он еще не сказал всего, она уже молила его не продолжать. Она погладила Кольку по грустной головке и вышла.

Она была так потрясена прямоотой сказанного, что и думать-то ни о чем не могла, только бродила по дворику. Дворик был тесный, засаженный в минувшую осень тополями, тополя не успели распушиться и походили на новобранцев, толпой сгрудившихся и ждущих команды.

Гладковский подошел к окну, раздвинул куст герани, увидел Нину под унылым фонарем полной луны и в окружении неоперившихся тополей; но с удивлением Гладковский открыл, что видит пейзаж и жену за окном как нечто далекое и холодное, постороннее; это напугало его. Неужели так из века? Любишь женщину, едешь с ней за тридевять земель, а там вдруг усталость одолевает тебя – хочется лечь и уснуть.

Он так и сделал – прилег на диван и задремал.

Утром, прощаясь, он потерся о плечо жены, словно просил прощения, и новые заботы поглотили его. Гладковский попросил Штырева принести учетные карточки на четверых солдат. Командир взвода Штырев – к нему попали удалыцы – разложил личные дела на столе. Гладковский, принимая папку, улыбнулся. Таким же розовым лейтенантом семь лет назад он приехал сюда.

Он просмотрел учетные карточки – парни как парни. Все из семей технической интеллигенции, выросли в достатке, в больших городах. Трое недолго учились в институте, но потом оставили студенческую скамью. А один – с украинской фамилией Невара – не захотел вообще поступать в институт, хотя школу закончил на пятерки.

И он, Гладковский, должен учить их нынче уму-разуму. Нашли профессора!

– Вели каждому дать по два наряда вне очереди, – приказал он Штыреву. – Для начала пускай на кухне котлы новые с консервации снимут. Исполнение проверю лично.

Потянулся день, будничный, размеренный. Гладковский выезжал на стрельбище, смотрел мишени, пробитые пулями; слушал команды на плацу; читал свежие газеты, ходил с докладом к комбату и твердо обещал к маю выставить концерт – плясуны и соловьи ротные были собраны у того же Штырева.

Стоя перед комбатом, Гладковский вспомнил своих штрафников, хотел поделиться горем, но гордыня не позволила, стерпел, промолчал.

По пути к дому зашел Гладковский на кухню – в солдатской столовой была гулкая тишина, за дощатой перегородкой слышался говор штрафников, он притормозил, невольно вникая в разговор.

– А в хате у него, говорят, есть каптерка и гауптвахта – для семьи, – нагло ватно говорил сильный голос. Другой, прижимистый, что-то добавил, и все рассмеялись.

– Да, ротный у нас жуткий бурбон. Заметили, у него подтягивается и каменеет челюсть, когда он приказ отдает.

– Ипускает...

– Ага, и песни строевые любит:

– А для тебя, родная...

Хором они подтянули:

... есть почта полевая... прощай, труба зовет... тру-ту-ту-ту...

Стервецы, раскусили ротного, – с грустью подумал Гладковский и крикнул:

– Где тут эти бездельники? – и громко стуча подковками, вошел в предбанник – так называлось подсобное помещение столовой.

Солдаты сконфуженно приветствовали капитана. Он оглядел их. Они стояли без головных уборов и в рабочих куртках. Снова ему понравились открытые юные лица, излучавшие

здоровье. Но что-то корябнуло его: солдаты, кажется, видели в Гладковском лишь функцию, призванную штрафовать и назидать.

– Обедали, хлопцы? – спросил Гладковский. – Обедали, Подкорытов?

– Так точно, товарищ капитан, но уже проголодались. Ударная работа изнурила организм. Гладковский кликнул дежурного по кухне и попросил накормить четверых еще раз.

– Так нема чем кормиты! Усе поели.

– Побачьте, пошукайте, – в тон дежурному ответил Гладковский, – они, – он показал на солдат, – выполняют особое задание.

– Есть пошукаты! – выкрикнул дежурный. Гладковский удалился и, пока уходил, слышал тишину за спиной.

Отобедав в чопорном домашнем уюте – Нина все еще переживала размолвку – Гладковский снова побрел на службу.

Апрельское солнце прожигало насквозь, тонули в мареве голые сопки. Полуденная тишина легла по всему Забайкалью, и к Гладковскому неприкаянно пробилось воспоминание, будто из-за кургана выплыл остров Дятлинка, и дальше, отроческое разноголосье вдруг застило слух.

Слушая забытые голоса, Гладковский велел Штыреву вернуть солдат в казарму.

Штырев спросил:

– А не торопитесь, товарищ капитан?

– Я сегодня понял, – сказал Гладковский, – бродит в них молодость. Для нас армия – уклад и порядок, а для них – степь, вольница. Да, впрочем, и ты, Костя, – по имени назвал он лейтенанта, – тоже бодаешься иногда. Бывает? Во! Верни ребят. Ожесточить не хочу. Когда молодые сердятся, то быстро стареют.

Штырев с сомнением покачал головой – рассуждения Гладковского показались ему не то чтобы невоенными, а диковинными, и он решил вечером вывести у ротного причину такого настроения и заодно отпроситься в Читу – в Чите жила возлюбленная лейтенанта Штырева, через день он писал ей страстные письма.

Но вечером Гладковский ушел в казарму. В ленкомнате Федор нашел Пасканова и Мяличкина. Они сидели с отстраненными лицами и читали книги в крепком переплете. Неохотно встали, приветствуя капитана.

– Позвольте полюбопытствовать, – Гладковский прямо из рук взял книгу и полистал.

– «В вечер такой золотистый и ясный, в этом дыханье весны всепобедной, напоминай мне, о друг мой прекрасный, ты о любви нашей...» – прочитал Гладковский. Отдал книгу Пасканову и немо стоял, но вспомнил, зачем он пришел. Он пришел увидеть Дементьева.

– Я ищу Дементьева. Дневальный! Пригласите сюда Дементьева!

Гладковский любил Дементьева, как одноклассника, особенной любовью, и по Дементьеву поверял себя, свое былое и настоящее.

Напросившись на второй срок, Дементьев удивил Гладковского. Гладковский узнал, что отец у Васи Дементьева внезапно помер. Кровельщиком всю жизнь работал, крыл избы дачникам на Седанке под Владивостоком, солнце ослепило его – оступился, упал. Вася, освоивший ремесло отца, первые дни взбирался на сквозную пирамиду дома, который должен был крыть без отца, постукивал молоточком; но потом, тоскуя, сошел на землю, стал искать приложения крепким рукам на земле. Не нашел – написал письмо Гладковскому. Дементьев исправно служил, но прошел год, и другой был на исходе, он стал беспричинно задумываться и грустить.

Бывали и сейчас взлеты у него. Недавно вел Гладковский роту со стрельб, усталость сковала солдат – шли вразброд, растянулись по степи. Взводные несли фуражки в руках, пыль оседала за колонной.

Войти в гарнизон и вот так, молча, разбрестись у казарм – нет, это было бы свыше сил для Гладковского. И раздался насмешливый, совсем не вечерний, вскрик:

– Запевала, песню!

Запевала молчал.

Настигая головной взвод, Гладковский метался в поисках решения. Взводные обещали запевале жестокие кары. Запевала, сволочь, молчал. Но тут хрипловатый басок Васи Дементьева заговорил речитативом:

Как родная меня мать
Провожала,
Как тут вся моя семья
Набежала...

И тотчас, обгоняя Василия, отозвался звонкий голос запевалы. Рота подтянулась, взводные надели фуражки. Чеканя шаг, вступила рота в гарнизон.

Явившись сейчас на зов капитана, Дементьев тихо признался:

– Мамаля хворает, домой зовет. Да и пора. А то ей молока никто не принесет, мамане...

– Летом отпущу, – пообещал Гладковский, – но чур, в отпуск с Ниной приеду к тебе.

Всю жизнь мечтал Владивосток посмотреть.

Разномастные глаза Дементьева вспыхнули, как перламутр:

– Ох, порыбалим, товарищ капитан, покупаемся! За виноградом в тайгу ходим!

– Сходим... Ты город больше любишь или Седанку свою?

– Город-то что – теперь все города похожи друг на друга.

– Не-е, не согласен, – Гладковский прикрыл глаза и качнулся в полузабытьи, припомнив мираж после полудня.

– Так и Владивосток! – вскричал Дементьев. – На Голубинке классом сойдемся – а простору-то! Неба-то! Свободы!

– А вы, Пасканов, что любите, жалеете? – неожиданно обратился Гладковский к Пасканову.

– Я... я люблю атомный реактор, – отвечал Пасканов.

– А вы, Мяличкин?

– Мы с Подкорытовым работали недолго на автозаводе. Мы уважаем поточную линию, без эмоций.

– А песню «Дальневосточная, опора прочная» откуда знаете?

– К концерту готовимся. По приказанию лейтенанта Штырева.

– Не нравится, песня-то?

– Архаичная, – сказал Пасканов.

– Я давно хотел спросить, товарищ капитан... Вы ведь пушки любите, семидесятишестимиллиметровые? А миномет – любите? Вы ж военный... – спрашивал Дементьев.

– Военный, верно, – задумчиво признался Гладковский и посмотрел на Дементьева. «Вот за что я тебя люблю, Василий, – думал он, – я знаю, о чем ты спрашиваешь меня, и ты знаешь тоже».

Вслух же произнес:

– В вечер такой, золотистый и ясный, Пасканов любит атомный реактор, а Мяличкин с Подкорытовым – поточную линию. Законная любовь. Не сужу ее. А Дементьев любит Седанку и Голубинку.

– А вы-то, вы? – деликатно напомнил Дементьев, помогая капитану.

Гладковский молчал. Зная, как надо ответить сержанту, чтобы не раздосадовать его, Гладковский внезапно понял, что нельзя на миру признаться в любви к сирой и малой родине, и он в смущении посмотрел на солдат.

– В Бурятии живет лама, он отрекся от Будды, ему платят пенсию. Я видел его. Несчастный старик, – вот что сумел сказать Гладковский и пробрался к выходу.

На улице он долго стоял недвижно. Воспоминания об отлетевшей молодости, всегда некстати и больно покалывающие сердце, никак не уходили, не исчезали.

Гладковский, запинаясь, бродил в потемках по плацу и опомнился, когда в упор увидел лейтенанта Штырева.

– Костя, нет ли у тебя? Захотелось вдруг. Разумеешь?

– Понимаю, – отвечал Штырев. – Найдем. Очень хорошо понимаю вас, товарищ капитан.

Они выпили. Штырев, попыхивая сигаретой, ожидал исповеди командира, не вытерпел, заговорил сам:

– В Чите, товарищ капитан, девушка стареет. А и на часок не сбегаешь, и суток мало – далеко живет.

– Позови ее сюда.

– Не поедет, – убежденно сказал Штырев. – Это у вас Нина Николаевна декабристка. А среди нынешних девчат повывелись подвижницы.

– Просись в отставку, – миролюбиво посоветовал Гладковский. – Хоккей будешь смотреть прямо на главном стадионе Читы.

– Вы шутите? – спросил, напрягшись, Штырев. Снова речи капитана показались ему диковинными и даже неправильными.

– У меня безнадежное чувство, когда я вижу тебя, – сказал Гладковский.

– То есть? – лейтенант казался растерянным.

– Давай лучше ты споешь, – взмолился Гладковский. – А говорить не будем.

– В одиночку петь – песню портить. Вот ежели взводом – тут огонь до печени жжет. Как тогда Дементьев-то, а?! У, музыка!

Гладковский затосковал. Пора идти домой, но, на беду свою, домой он идти не хотел.

– Я спою, раз публика просит. – Штырев кашлянул. Потом не пропел – изрек: – «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой». Мотив мой, слова народные. Пойдет?

Пока он одиноко пел, на огонек вошли офицеры, приятели Штырева, одногодки-холостяки. Мигом сложилась компания, отыскались заношенные карты. Стали играть в подкидного, потому что в преферанс Гладковский отказался играть наотрез.

Штырев кричал:

– Мать честная! Да я и не гадал, что отыщу вас в степном захолустье! – И обнимал Завьялова и Сухорукова, становился сентиментальным.

Ряболицый, длинноногий Завьялов (Гладковский любил Завьялова за острый саркастический ум) отвечал Штыреву, не вынимая папиросы изо рта:

– Собачий сын! У тебя командир поэт – Федор Григорьевич, не лычу! – а ты попади к нашему охламону.

– Юрка, крой его интеллектом! Ты же его задавить можешь! Что приbedняешься? Ты же гений, Юра!

Завьялов мотал белобрысой головой:

– Отошла пора, отпели, братцы, наши трубы. Скоро нас в холодный резерв. Видели? Кладбище паровозов целехоньких, в тупике под Читой.

– Юрка, да ты и на гражданке не пропадешь! – не сдавался Штырев.

– У меня отец и дядя полковники, а дед – комдив, упекли в тридцать седьмом. И до сих пор не реабилитировали.

– А, наследственная кость! Презираешь нас, поди? – вымолвил Сухорукое.

Гладковскому нравился и лейтенант Сухоруков, хотя он не знал чем.

– А Федор Григорьевич загрустил, – сказал виновато Штырев и вкрадчиво обронил давно отрепетированную строку: «Я встретил вас, и все былое...»

Глядя выпуклыми глазами на мир, одногодки-холостяки подтянули Штыреву, Штырев красивел не глазах, у Завьялова в руках появилась гитара.

– В одиночку петь – песню портить! – воскликнул Штырев, вытирая полотенцем пот со лба.

«Сейчас я уйду на улицу, – думал Гладковский, – постучусь домой и скажу: знаешь ли, Нина, лучшие наши годы минули? Да, они минули... А жить надо и дальше. Только вот как жить на пепелище?»

Но шли дни, дома Гладковский молчал, старательно исполнял роль семьянина – выбивал половики, ходил с сыном в военторговый ларек, иногда вовсе шустрил, не узнавая себя, успевал обед приготовить или книжную полку сколотить.

По вечерам Гладковский пристрастился заходить к Штыреву, они говорили об армии; говорил, все больше распаляя себя, лейтенант, а Гладковский поддакивал изредка и не в лад.

Уехал на родину Дементьев, теперь уже невовратно.

Песчаные бури улеглись на ущербе лета, солнце пригревало непрочное, но ласково и мягко. Подкрался сентябрь.

Гладковский получил отпуск, но во Владивосток не поехал, повез жену и сына в Сваринск, к Нининой родне. Едва добрались до Сваринска и облобызались с тещей (тещу Федор не любил за светскость и манерничанье), он отозвал в сторону Нину: «Не теряй меня», – и ушел на вокзал.

А в Урийске, повиснув на поручне, раньше срока спрыгнул на перрон. Сизый рассвет пластался над городом. Первые лучи солнца светлыми копьями постреливали по бронзовым верхушкам берез.

Федор пробежал из конца в конец Шатковской, это была его родная улица, долгая, и все еще с деревянными тротуарами – под ногой доски прогибались. В утренних сумерках Гладковский пришел к пятой школе. Раньше школа казалась ему громадной, необъятной, в утробе ее вываривалось зыбкое, призрачное товарищество, которое быстро потерялось в огромной стране; через десять лет один Гладковский и помнил всех по именам.

Притаившись на скамье у калитки, Гладковский дождался начала уроков. Федор заметил, как вышел из-за угла погрубевший физрук, скользнул взглядом по Гладковскому и не узнал его. Федора это больно задело, но следом он увидел Сильву, историчку. Сильва шла, близоруко щуря глаза (очки Сильва не носила, считая, что они старят ее, сорокалетнюю женщину).

– Сильва Васильевна, – позвал Гладковский.

– Да, я слушаю вас, – чуть надменно сказала Сильва. – Вы, верно, папа Толи Никитина? Я довольна Анатолием, он усидчив, год начал превосходно. После уроков подходите, потолкуем...

Федор был ни жив, ни мертв. Оказывается, в этом утреннем городе уже никто не ждал его, не называл никто по имени – «Федя, мальчик мой».

Никто не догонял его.

До обеда Федор пробыл на реке. Другие мальчики – прибранные и ухоженные – стояли с удочками на берегах обмелевшей Умары; другие девчонки, протягивая цыплячьи руки, звали их в выжигательный круг. Какая давняя игра.

Федор не решился перейти по мосту на остров – иные деревья и травы росли на острове, и даже запахи витали другие. Куда-то отошел знакомый запах прелой травы, осенних костров на огородах, а воцарилось сырое, промозглое дыхание чужой осени в чужом городе на чужой реке.

Вернувшись в часть, Гладковский был все так же подтянут и строг. Полковое начальство, завидя его издали, приосанивалось и, когда он подходил, любовно хлопало его по сильному плечу.

Но... бывшее есть и пребудет вовеки.

1975

Мазурка

Памяти Августы Васильевны и Ивана Дмитриевича Черных

Однажды в станице Албазинской вместе с группой армейских офицеров (среди них был и казачий в звании подхорунжего), по казённой надобности шедших в низовья Амура, к Хабаровску, оказались молодые поляки, разумеется, из католиков, но принятые на русскую службу, правда, гражданскую, не военную. Поляки эти как бы вняли великости державы, время от времени притеснявшей маленькую и гордую Польшу, и поэтому иронично, но и снисходительно похлопывали по плечу старшего брата. А наши офицеры были тоже молоды, либеральны в духе уже распушенной эпохи (дело было накануне мировой войны), они сочувствовали полякам и даже жалели их.

Христос, единый и всеблагий, привел спутников в дальние края, в станицу Албазинскую, вполне обустроившуюся, с лиственничными домами, с синими куполами церкви, с красивой – на Самсоновском взвозе – лестницей, рубленной еще к приезду цесаревича Николая, теперь императора.

Путешественники добрались на Амур через Байкал и Кяхту верхами, хотя могли бы и по железной дороге, но молодость и воспоминания о временах Муравьева и Невельского усадили их в седла, они мчались на косматых монгольских лошадях, били с плеча косуль и птицу, помогали денщикам на стоянках собирать хворост и варить кулеш, ухаживали по пути за скуластыми гуранками. Измочаленные перекладными, но уже сплавом, на барже, пришли они в Албазинскую. Стояло парное утро, в обильной росе. Они поднялись по Самсоновской лестнице и огляделись. Станица Албазинская была старинная, семнадцатого столетия, но тогда после горячих схваток с маньчжурами станицу пришлось отдать, а в девятнадцатом трудами и терпением забайкальских казаков удалось восстановить, станица быстро окрепла, похорошела, одомашнилась, по берегу Амура стояли скамьи, грубо рубленные, но оттого удобные. Покойные. Здесь старики собирались, чтобы выкурить козью ножку с терпким самосадам, а по вечерам кучковались парни и девки. Уже и качели стояли с двумя продольными лодками, крашенные и накатистые, в полную высоту лесин.

К тому дню, когда русские офицеры и польские чиновники оказались в Албазинской, во главе станицы третий срок трубил атаманом Василий Яковлевич Савинов, властный и боевой казак, за китайскую кампанию 1900 года и за японскую 1905-го получивший Георгиевские кресты. Однако когда путешественники по казенной надобности пришли утром в станицу, атамана добудиться не могли – накануне, в Преображение Господне, то есть на Яблочный Спас, тот наотмечался до положения риз. Писарь Яшка Сенотрусов пытался побудить атамана, Василий Яковлевич разлепил глаза, тяжело встал на смутных ногах, обутых в ичиги (сон свалил его внезапно), промычал что-то и упал снова на топчан.

Молодые офицеры и поляки расхохотались, когда писарь доложил им о немощи атамана – между прочим эта немошь свидетельствовала о том, что берег этот воистину наш и будет нашим вовеки, офицеры пошли в заезжую избу, приказали истопить баню, заказали завтрак. Все было исполнено неукоснительно. Им поднесли из рейнского подвала красного вина, они выпили и уснули богатырским сном. Так что когда смущенный атаман явился пред их очи, они в свой черед не могли поднять разбитых дороною тел, и атаман пошел домой. Под вечер он звал гостей на ужин.

Дом Василия Яковлевича стоял на обрыве, семью окнами к китайской стороне, был высок, с сухим подом, с широким резным крыльцом. Зеленые перильца обрамляли крыльцо, и цвели белые хризантемы в клумбах, обложенных речным окатышем.

Стол ломился от яств, все оказалось свежее, августовски густое и сочное – овощи, ягоды, самогон хлебный, настоящий на кореньях, рябчики в грибном соусе, калуга маринованная из ледника. Атаман, похожий на сома, встретил гостей чисто выбритым, подтянутым, но без пашки, по-домашнему. Георгиевские кресты и Владимирская медаль тлели на его крепкой груди. А тут вошли в горницу атаманские дочери – Анастасия, Авдотья, Ангелина, Алевтина и юная Дарья, прибежавшая в холщовом сарафане с лютиками по подолу да босиком, по домотканым коврикам. Девушки сели за общий большой стол, словно воспитывались в светской, а не казачьей семье, озорно глядели на офицеров и поляков. Что ж, их отец знал, как загладить утреннюю неловкость, и потому усадил девок за общий стол. А еще он позвал Яшку с тульской гармонией, Яшка слыл мастером брать любую мелодию на слух, сходу, и перебирал басовые и высокие тона как хотел, в горячую минуту подпевая мягким баритоном и пристукивая сапожком в пол.

Гости выпили раз и два. Атаман, боясь конфуза, лишь пригубливал. Самогон, похожий цветом и вкусом на коньяк, скоро раззадорил гостей. Наши офицеры и подхорунжий вызвали девушек и танцевали кадрили. Но следом поляки напели Яшке странный легкомысленный мотив, Яшка подхватил и понес, понес мотив через горницу и далее по комнатам большого атаманского дома и за окна, распахнутые настежь – теплынь стояла на дворе.

– Ма-зур-ка! – сказали поляки и позвали Дарью и Ангелину на танец. Круглобедрая Ангелина, девушка на выданье, под окнами ждал ее жених, вела себя томно, она стеснялась этого чужого, стремительного танца. Зато Даша – она осталась и в танце босиком – сразу уловила ритм и скорость мазурки и прокричала:

– Яша, быстрее, да быстрее же, зателепа! – отец рассмеялся, наши офицеры тоже рассмеялись. А поляки, меняясь, танцевали полчаса и далее, до упаду. Атаман, любуясь младшей дочерью, незаметно выпил серебряную стопу самогона, крепость не взяла его, но в висках зашумело, Василий Яковлевич встал, вышел и сделал два пристойных па, но где же угнаться было ему за юной Дашей. А поляки расстроено мигали длинными глазами и отдувались, потом что-то друг другу изнеможенно прокричали. «Эта девушка истинная мазовецкая полячка!» – вот что прокричали они и без сил опустились на пол, им поднесли холодного клюквенного сока, зубы ломило, но они выпили до дна.

– О, матка Боска! – простонали они.

– Как тебя зовут? – спросил Дарью юный подхорунжий с добротным славянским именем Микула, из яицких казаков, но подавший на перевод в амурские.

– Нас зовут Дарья Васильевна, – отвечала Даша улыбочиво, давая понять, что на «ты» не принято обращаться к девушке.

Подхорунжий понял намек.

– Вы не Дарья Васильевна, вы – Мазурка! – воскликнул Микула, расправил широкие плечи и отозвал к окну атамана.

– Василий Яковлевич, есть ли жених у Мазурки?

Вопрос не застал отца врасплох.

– У всех моих дочерей есть женихи, а у Даши сразу три поклонника, – с достоинством и совершенно правдиво отвечал атаман.

Микула потемнел лицом, молча ушел в заезжую избу. Но сначала он дерзко взял Дашину тонкую с китайским браслетом руку и поцеловал. Поляки прицокнули языками.

Назавтра с первыми петухами путешественники погрузились на баржу. В последний момент к берегу подбежала Даша, намочила в реке и бросила Микуле батистовый платок:

– Не забывай Мазурку! – выкрикнула она озорно, смотрела вслед уходящей медленно на форватер барже. А с обрыва смотрел на Дашу юноша, еще мальчик, черноглазый и строгий, и сердце у мальчика опадало, он любил Дашу с отроческих, а может быть – с младенческих

лет. «И я никому тебя не отдам», – прошептал мальчик. «Пойдем, Даша. Я никому не отдам тебя», – сказал он, спустившись к воде, и больно стиснул Даше плечо.

И сбылось, не отдал, хотя она долго отбрыкивалась. В разгар гражданской уособицы их успели повенчать. Тут остатки Гамовского мятежа расходились и расползались по Амуру, в станицу Албазинскую неожиданно явился крохотный отряд, потерзанный в боях, во главе его оказался сотник Микула.

Микула постучался в дом атамана, теперь бывшего. Василий Яковлевич впустил казаков в дом, накормил и напоил, но спать не уложил, потому что красные шли по пятам, в любую минуту можно было ждать их вторжения в станицу Албазинскую.

– Куда ж вы теперь, сынки? – дрогнувшим голосом спросил старый атаман.

– За кордон, отец, – молвил Микула, – теперь нам не осталось на родине места. Уйдем к Харбину и осядем. И, может быть, когда-нибудь вернемся. Но дай ты мне, Василий Яковлевич, посмотреть на Мазурку, одним глазом, прощально.

– Поздно, Микула, она обвенчана.

– Глянуть – и только, – сердечно просил сотник.

Мазурку позвали и оставили на минуту с Микулой.

– Вот твой сиреневый платок, Мазурка, – сотник из-за борта френча достал дряхлый лоскут.

Но Мазурка не дрогнула: «Ты опоздал, дружок. Прощай».

Микула приобнял Мазурку, с влагою во взоре выбежал на резное крыльцо: «В седла, ребята!»

Снова Мазурка стояла у кромки воды, и снова с обрыва смотрел на Мазурку уже не мальчик, а муж, и душа его трепетала.

– Пойдем домой, Лёнюшка, – попросила Мазурка, – дома я что-то скажу тебе, ты заплачешь от счастья.

Они пришли к дому, поднялись в горницу. Там Мазурка положила Лёнюшкину ладонь на свой поджарый живот: «Слушай», – Лёнюшка услышал, как из Мазуркиного живота кто-то постучал настырно в его ладонь. «Твой мальчик, – смеясь, сказала Мазурка. – А после я рожу тебе еще мальчиков, они переживут бордовых, тогда атаманы снова придут на Амур».

Она и правда скоро родила Лёнюшке двух сыновей и двух девочек. В трудах они поднимали их, пели им старинные песни, а новых не пели.

Но в двадцать девятом году взяли отца, Василия Яковлевича. Сначала – нет, не взяли, а потребовали, чтобы Василий Яковлевич не носил на казачьем чекмене Георгиевские кресты. «Да я получил их, защищая Отечество». – «Нет, ты защищал царский режим». – «На сопках Маньчжурии я защищал родину». – «Заткнись, старый! – приказали ему. – и иди за крестами».

Василий Савинов ушел домой, снял с чекменя кресты, позвал дочерей и зятьев к берегу, там на их глазах забросил кресты в темную амурскую волну.

И тотчас атамана взяли, заломив руки, увезли. Куда увезли, Мазурка так никогда и не узнала.

Но взяли и Лёнюшку. Мазурка кинулась к пограничникам тигрицей, отбила мужа, тогда схватили и Мазурку, на розвальнях в крещенские морозы доставили в Рухлово, в пересыльной тюрьме разорвали их объятия, нагайкой, исполосовав, выгнали Мазурку на улицу, Она прискоком бежала по холодной дороге в станицу Албазинскую к детям и молила Бога за мужа и за детей.

Через полгода пришло письмо от мужа, из дальней дали. «Мы расконвоированы, – писал Лёнюшка, – потому как уйти отсюда невозможно, болота и тайга, зимой дорога ледовая, а летом – два парохода толкут воду в ступе. Пришли фотокарточку Гоши и Кегли, Ани и Лизы».

«Пришлю живые образа деточек наших, – отвечала Мазурка двойным слогом, не сразу уловленным Лёнюшкой. – Потерпи, тятя».

В канун колхозной оккупации, не дожидаясь описи имущества, Мазурка продала отцов дом и скотину заезжему геологу, собрала мальчиков и девочек в дорогу. Увязала под марлю в корзину десять куриц, взяла пшена. Она знала, что делала. На перронах до Красноярска она станет менять живых кур на ту еду, что будут бабы выносить к поездам.

В Красноярске Мазурка тайком пересчитала деньги, оставила на вокзале за старшего Гошу, приказала в плетенке оберечь трех исхудавших в дороге куриц и побежала на базар разведать, можно ли купить лошадь и розвальни с попоной.

Читатель уже догадывается, что задумала Мазурка. Она задумала по Енисею, скованному льдом, спуститься туда, к Полярному кругу, и пусть князь Турухан посмеет не допустить ее к ссыльному Лёнюшке.

На Красноярской толкучке, опять же в канун обморочной колхозной описи, живности оказалось полно. Мазурка без удержу бродила между саней, вдыхала родные запахи конского пота и мочи, щупала копыта, заглядывала в пасти лошадям. О, в лошадях она разбиралась! Стыдно подумать, она и сейчас, мать четверых детей, смогла бы не только верхом, но и стоя на крупе босыми ногами, проскакать версту. «Погода с вихрем» – не зря звал ее отец. Бог не дал отцу сыновей, зато одарил его Мазуркой. И вот стоит она посреди шумного майдана. Коровы ревут, козы блеют, лошади ржут, и тоскуют мужики и женщины, остатками свободы похмеляясь в санях.

– Тебе чего надобно, молодка? – спросил Мазурку осевшим голосом мужик. – Почто не бабьей заботой живешь, лошадям копыта метишь?

– Я с Амура, иду к своему на поселение.

– А где он у тебя, родимая?

– Под князем Туруханом.

– Ого, у Холодного круга. А с кем ты туда стопы правишь? Там ныне ночь, глаз коли.

– Два сынка да две дочки со мной. Старшему семь лет, а младшей три годика. Погодки.

– Лихая! Невтерпеж, да?

– Деточкам неветерпеж, по тятё тоскуют. Да и я тоскую. И он, само собой, тоскует тоже.

– А зовут тебя как?

– Мазурка, – неожиданно призналась она полузабытым именем.

Мужик печально всмотрелся в ее лицо, за семь суток пути убежавшее с опары.

– Скоро и я там окажусь, – сказал мужик. – Вишь, распродаю хозяйство. Но успею ли уйти в Казахстан или куда дальше, не уверен. Бери моего мерина, довезет. За полцены отдам. Зовут его Гринько. Ох, и поработали мы последние годы, на славу. Да славу отнимают у нас. Не дают пожить спокойно.

– И не дадут, – подтвердила Мазурка. – Их задача потравить нас и на потраве править слабыми. Но я хочу оберечь мальчиков, глядишь, доживут они до новой воли и поднимутся.

– Ты, однако, бравая женщина. Забирай Гринько и не поминай лихом средняка Копылова, – мужик обнял мерина за гриву, постоял минуту, взял червонцы, не считая заткнул за борт кобуху, и пошел, пошел вбок, чуть припадая на ногу, оглянулся, тряхнул отчаянно головой и исчез.

Мазурка стоймя натянула вожжи и, раздувая ноздри, погнала Гринько к вокзалу. На вокзале она застала безумную сцену. Деточки ее, истомленные дорогой, не уберегли плетенку с курицами, плетенку опрокинули, птицы вывалились и, ополоумев, понеслись по залу ожидания, шпана кинулась их ловить. Деточки сбились в куток, дрожа. Плакала на коленях у Гоши махонькая Лиза.

Она подхватила деточек, выволокла на привокзальную площадь, забросила в сани, они помчались искать пристанище. И пока они неслись по выстуженным красноярским улицам, Мазурка, уняв сердце, смеялась вокзальному переполоху.

Ночью, уgomонив ребят в Крестьянской избе, она промысливала тысячеверстный путь. Когда-то довелось ей идти с обозом на Благовещенск по зимнику, но тогда рядом были свои, игнашинские и албазинские, и Лёнюшка был рядом, и та зимняя дорога показалась праздником.

На биваках казаки палили костры, жарили на вертелах бараньи туши, обливаясь жиром, ели, запивая затураном. Боже, как счастливо горел Лёнюшка, вырвавшись с Мазуркой на волю, первенцев препоручив старикам. И Мазурка была счастлива, она обхватывала под тулупом Лёнюшку и ласкала на ночных стоянках.

Теперь предстояло суровое испытание. Если не будет обоза в низовья, она пойдет одна. А день короткий, и мерин не первой молодости, а если собьет подковы (на ледовой дороге это запросто) – тут-то они и закукуют. И, говорят, снова начали гулять лихие люди, постреливать и обирать народ.

Под утро она вздремнула, припав лицом к Гоше, от него припахивало посконным, албазинским. Но, очнувшись, она со страхом суеверным обнаружила, что младшенькая стала квёлой. «Что с тобой, Лизавета?» – она губами коснулась Лизино лба и ощутила жар, поднимающийся изнутри.

Мазурка кинулась на подворье, запрягла Гринько, помчалась окраиной. «Знахарку надобно!» – выкрикивала она, но никто не решился назвать ей имя знахарки. Мазурка поступалась к платному доктору, горячо запричитала: «Доченька занемогла, жар пошел, спасите девоньку». Доктор дал снадобья, но ехать в Крестьянский дом отказался. «В этой клоаке заразы хватает», – признался. Был ли он прав? Нет. В тридцатом году Крестьянские дома были еще крепкими домами, там еще теплилась трезвая жизнь, сорванная позже с полозьев, там еще горели лампадки по углам и мерцали последние лики угольников.

Вернувшись, она достала образок Албазинской Божьей Матери, поставила детей на колени и молилась сама, да видно запоздали они с молитвой – Лиза отвергала снадобья с тихой улыбкой. «Я хочу домой, к бабеньке», – шептала девочка. «А тятя? Мы к тятю должны добратся». – «К бабеньке хочу», – просила Лизавета и с мольбой о бабеньке погасла.

Мазурка положила Лизу в шубейке посреди саней, усадила детей рядом и закружила по глухим улицам, отыскивая погост. Лиза быстро остыла, легкая и счастливая досада высветилась на бледном личике. Наконец отыскали они на западной окраине города неухоженное кладбище, со множеством свежих холмиков, по всему видно было, шел вселенский мор. Кладбищенский сторож проникся, отыскал взрослую домовину. С хладными лицами Мазурка и дети опустили Лизу в чужую, взрослую же, могилу, забросали мерзлыми комьями. В тот же час Мазурка рванулась из Красноярска к Енисею и погнала Гринько по зимнику. Потрясенные дети сидели, нахохлившись. Заметала след позёмка.

Они добрались до первого села, их приютила одинокая старуха, в избе было тепло. Мальчики и Аня отогрелись и уснули, разметавшись на полу.

Мазурка опять за полночь лежала с открытыми глазами, в окно лезла стылая луна, дети посапывали, и она забылась неверным сном. Утром, увидев мокрые глаза у Гоши, никшнула: «А ну, казак, подыми лицо, нас тятя ждет».

Испив горячего чаю с топленным молоком, они выскочили на ледовую тропу и помчались следом за двумя кошевами, и шли, пока не стали промерзать. Тогда она приказала детям сойти с саней и, взявшись за облучок, бежать рядом, и сама бежала.

\\\\

В Подкаменной Тунгуске она взяла передых у богатых хозяев, намереваясь щедро заплатить за постой, рассчитав, что денег хватит, кажется. Хозяин, сухой чалдон, смотрел на Мазурку всепонимающим взором. Она исповедалась: «К тятю бежим, тоска поедом ест».

– Не надо тосковать, голубушка, – молвил чалдон. – Надо радоваться близкой встрече с баткой.

– Дочку не довезла, похоронила в дороге, – вздохнув, призналась она.

– Довези этих. И не горюй. Бог дал. Бог взял.

Хозяева отказались от Мазуркиных денег, снабдили беглецов старыми овчинами и домашними припасами, даже водки дали в березовом туесе.

Хозяин подковал Гринько и похвалил Мазурку:

– Молодчина, выносливого конюшка выбрала. Да вот беда, волки балуют на Енисее, но я подарю вам песика, всё веселее с песиком пойдете. А ежели волки начнут доставать, жгите соломенные жгуты.

Мазурка обняла хозяев, и они снова сошли с берега на лед.

Когда четыре года спустя они, с тятей уже, шли назад, – им разрешили вернуться, но не в станицу Албазинскую, а в Урийск, – Мазурке страстно хотелось повидать добрых богатеев; они отыскиали дом, дом стоял с пустыми глазницами окон, обгоревший. «Разорили Покидовых, – сказали соседи. – Обобрали до нитки, ушли они в леса и сгинули».

Дважды Мазурка ночевала с детьми на пустынном берегу, обобрав сушняк для неугасимого костра, лаечка подавала голос на дальнее волчье завывание. Мазурка отхлебывала по глотку из туеса и детям велела не брезговать крепким напитком, в кипяток добавляла ложку-две, и Бог миловал.

Лаечка привязалась к ребятам, ребята повеселели, исхудали, но взнеслись духом, у костра гоношились, ели сноровисто, делились с собачкой. Эх, мудрый оказался богатеи из Подкаменной Тунгуски, лаечки не пожалел.

В версте от Туруханска, завидев огни поселка, она из проруби умыла лица ребятишкам и дала каждому ладонью под зад: «Какие же вы у нас с тятей лихие!»

Она не забыла и себе омыть задубевшее лицо, сняла полушалок, причесала волосы у осколка зеркала.

Они степенно въехали в поселок, отыскиали дальний барак, комнату и кухню в котором снимал Лёнюшка. Руки у Мазурки подрагивали, когда она вязала у прясла Гринька, и торкнулась, впереди подгоняя детишек, в тепло. У Лёнюшки гостевал сосед, подперев кулаком многотрудное лицо, он сумерничал с тятей.

– Ты к кому, тетка? – не признав своих, спросил Лёнюшка, голос его, отметила Мазурка, был слаб.

Онемев, они стояли перед отцом. Теплилась восковая свеча, бросая тени по углам. Лёнюшка взял свечу, подошел к ним, всмотрелся и – рухнул на колени: «Детушки мои...» Свеча погасла, гость, нащупав спички, возжег свечу. Пораженный явлением малых и матери ссыльному отцу, сосед поперхнулся, ушел за порог, скоро вернулся, положил большой кус сала и мешочек с мукой и опять, с подернутым лицом, удалился.

– Лизу не довезла, – сразу призналась Мазурка. – Кори и бей меня, тятя.

Лёнюшка притиснул Мазурку к тощей груди. Потрескивали в печи дрова.

Опомнившись, Лёнюшка пошел на улицу, ввел Гринька под дровяной навес, задал овса. Они, прижавшись, снова молча сидели в тишине.

Кто-то поскребся в дверь.

– Да это же Цыганок! – закричал Гоша, они впустили лаечку в дом, ребята наперебой стали рассказывать отцу, как одарили их в Тунгуске собакой. А Мазурка, вдруг всхлипнув, сказала: «Вот Лизонька наша», – и обняла собачку.

Опять, онемев, они слушали за окном ветер. «Пуржит, к непогоде, – сказал отец. – Придется занести побольше дров. Гоша, Кеша, пошли».

Он взял «летучую мышь», запалил фитиль, мужчины налегке, в шапках, выскочили под метельный ветер.

– Аннушка, пойдй ко мне, – попросила Мазурка. – Ты все молчишь да молчишь, умничка моя, единственная. Люби тятю. Вот мы и добрались к нашему тятю. Ну, тут жить можно. Ком-

натка уютная, полки, вишь, сколотил, печь не дымит. Чё еще надо гуранам, в Албазинской поначалу лише было.

Отец и сыновья принесли по две вязанки крупных поленьев.

– Теперь тылы прикрыли, – сказал отец. – А что выюга, так и слава Тебе, на работу не погоню, побудем вместе денек-два.

– Ой! – вскричала Мазурка. – Тятя, тятя, у нас же есть заветный туесок! Святая водица горло дерет, да зато сердце греет, простуду гонит.

– А чесноку не привезли? – робко спросил Лёнюшка. – Цинга явилась.

– Есть и чеснок, я его подвялила, чтоб не замерз.

Они налили детям в эмалированные кружки, развели сырой водой, а себе не стали разводить, хотя спиртное было сильнее водки. Они встали и, перекрестившись на угол, молча помянули Лизу.

Отец настелил в комнате на нары соломы, нары оказались широкие, раньше здесь гуртовалась семья. А себе и Мазурке отец постелил в кухоньке прямо на полу. Они задули свечу. Отец в потемках пошел к мальчикам и дочке и потискал их. Они послушали, как гуляет непогода за окном, но веселый треск в печи забивал пение пурги. Они враз провалились в блаженный колодец сна. Но скоро Гоша растолкал брата и сестренку, прикрыв им ладошкой теплые губы: на кухне, залавливая стон, плакали тятя и маменька. Но Мазурка опомнилась и сказала: «Лёнюшка, давай еще по глоточку примем, за все хорошее, что было и что еще будет у нас и у наших деточек». И тогда мальчики и Аня снова уснули счастливым сном. Более таких счастливых снов у них, кажется, не было.

Это после, после той жизни – и в жизни этой, однажды, таким же счастливым сном забылся, вернувшись в Урийск с политзоны, последний их сын, Василий, названный в честь деда.

Но не в той – а в этой жизни Лёнюшку, Мазурку и детей их старших смела ледяная метель в то заснеженное неудобье, где им всем довелось сойтись уже навеки. Но Мазурка верховодила и верховодит и там.

Февраль 1998

Месяц ясный

Есть тайны добрые. Еще вчера в оврагах и в лесных околках крепко держались снега, еще вчера ходили низкие тучи, обещая стояние холода, а нынче утром выкатилось солнце – и снег поплыл ручьями в пойму Умары, распахнулись лица и ожили птичьи голоса. Весна одолела запозднившуюся зиму. И то есть тайна – добрая тайна прихода весны.

На свете много добрых тайн. Таинственно машет веткой клен, таинственно дышит сдобным теплом хлебозавод, таинственно смеется учительница – она научила первачей прочтению слова «мама», и светятся тайной глаза девушек, несущих по миру бремя первой любви.

Но есть тайны с нахмуренным челом, с замкнутыми устами, тайны немые, вызывающие к разоблачению.

Я знаю множество тайн. В специальной тетрадке я даже классифицирую их: тайны природные, тайны бытовые и национальные, тайны социальные. Собственные мои тайны, тайны моих детей и тайны любимых женщин – вот чем заполнена удивительная тетрадь в письменном столе под таинственным же грифом $T=Y=M^1$.

Но и у тайн – я поздно это открыл – есть свои тайны. Вдруг оказывается, что тайна, мучившая всех, вовсе и не тайна, а только наряжалась ею; а рядышком ходила простушка, всем надоевшая глупой очевидностью, а завтра простушка предстала загадочным существом. Иногда объявляют тайной то, что всем понятно, и – самое удивительное – все молча соглашаются считать нетайну тайной и накручивают вокруг нетайны кучи небылиц, а позже создают всякие комиссии по раскрытию тайны, которая – как король в сказке Андерсена – давным-давно голая.

Тайна рождения в июльскую ночь Маленького портного есть тайна злая и добрая одновременно. Я выведу ее на белый свет немедленно. Сам по себе прием этот – томить читателя тайной – нехороший, набивший оскомину.

В ночь с двенадцатого на тринадцатое июля в большом коммунальном доме на Шатковской рожала женщина, роды оказались долгими и трудными. Догадываясь, что роды будут нелегкими, роженица загодя выкрасила оконные шторы в светлозеленый цвет и стены побелила свежей известью, но в известь добавила сильную долю купороса и в этих сине-зеленых комнатах стала ждать дитя.

Дни накануне стояли сухие и высокие, пожух на огородах подсолнечниковый лист. Небо в полдень походило на высушенный добела полог пикейного покрывала.

В городском исполкоме дебатировалось решение переместить потоки воздуха из долины Умары, где вторую неделю, не приближаясь к Урийску, полыхала гроза. Решение это, размноженное на «Редингтоне», переходило из отдела в отдел, собирая визы, и добралось до Бушуева, председателя исполкома. Бушуев долго размышлял, прежде чем вынести руководящее указание, и наконец решился – ему и самому было несладко работать в духоте. Через сутки, по точному предписанию Бушуева, грозовые облака закрыли подступы к городу.

\\\\

Город вел себя многолико в этот вечер. Гроза, обещанная Бушуевым, не только не напугала молодежь, а как бы подстегнула ее, к городскому саду тянулись парочки и одинокие. Из Малой Сазанки на крытом студебекере прибыл матросский оркестр. Детина-мичман в ослепительно-белом кителе и в белой фуражке с вороним околышем построил матросов на главной аллее и повел их в сад.

\\\\

А сумерки быстро густели. Белоснежные форменки моряков, растворяющиеся в глубине аллеи, подвинули директора сада врубить свет, сразу, как на карнавале, темнота под кронами

¹ Тайны управляют миром.

дубов и берез сгнула, и на освещенных аллеях матросы Умарской военной флотилии исторгли из медных труб мелодию старинного вальса, эту мелодию услышала и женщина на Шатковской, молившая о дожде.

Внезапный удар грома потряс Урийск, о крыши домов забило градинами дождя, вскоре дождь опомнился и пошел не торопясь, спокойно и устойчиво. Запахло мокрой корой дубняка. Говор в подворотнях постепенно глож, гасли огни в окнах – а под куполом большой летней танцевальной площадки молодые люди в праздничных платьях кружились, не уставая.

К полуночи грохотание затихло, дождь лопотал мерно, снова осветились веранды домов, от крыльца к крыльцу потекло покряхтывание – старожители Урийска дышали полной грудью, не торопясь отойти ко сну.

А женщина все не могла родить и обращалась с мольбой к отсутствующему лицу, видимо, отсутствующее лицо возымело власть над роженицей.

– Ванечка, пошли мне успокоение, – шептала женщина, – дай ты мне поскорее девочку. Девочке трудно жить на земле, зато доверия ей больше.

Шепот этот походил на бред. Неумелая повитуха соседка Софья Гавриловна могла бы окрестить мольбу женщины бредом, но нет, повитуха с ропотом вступила в монолог роженицы:

– Как же, доверия девочке больше... Ты, Гутя, сама евонной родилась. И что, сладко тебе приходится?...

Схватки как раз отпустили, в комнате, освещенной тусклым китайским фонариком, разгорелось некое подобие спора. Смешно и нелепо – молодая женщина спорила с повитухой о том, кого ей рожать, мальчика или девочку, будто бы Творцом не предопределено, кому родиться. Но еще смешнее при шуме грозы и дождя, при сполохах молний двум женщинам – в канун единственного и только им принадлежащего факта – рассуждать о преимуществах женского рода над мужским.

– Оно, конечно, – говорила Софья Гавриловна, – мы лямку тянем лучше, но оне видят звезды, а мы их не видим.

– Я тоже видела звезды, когда познакомилась с Ванечкой, я видела самые дальние звезды, которые раньше видеть не могла.

– Воно-ка, видела! – поддакнула соседка. – Это Ванечка глаза твои распахнул. Оне далеко смотрят, мужчины, но в голове у них туман и морок...

Город не спал, прислушиваясь к говору странных женщин. В те дальние времена Урийск приобрел черты любопытствующего и распознающего чужие тайны города.

Софья Гавриловна приняла мальчика – родился мальчик – под утро. Мальчик как мальчик, со стариковским сморщенным личиком. Особого восторга от белого света мальчик не выказал. Ему показалось здесь холодно, и неуютно, и голодно. Мать потеряла молоко на третий день, перевела сына на искусственное питание, бегала по детским врачам и клиникам. Мальчик плакал, требовал материнскую грудь, терзал ее беззубым ртом и отваливался со злостью, грудь была пуста. Прошло полгода, и год миновал, мальчик плохо держал головку, у него стыли ручки и ножки.

– Не жилец, – сказала Софья Гавриловна.

– Типун тебе на язык, – отвечала мать. – Я что отцу-то его скажу?

– Да где он, отец? И есть ли он, Гутя?

– Есть! – отвечала мать. – Пусть тайный, но есть отец у Сережи.

– Ладно, есть, – вздохнув, соглашалась Софья Гавриловна. – Но вы что думали, когда зачинали ребеночка, а? Зачинать ребенка в погибели нельзя.

Мать молчала. Она поехала в погибель, в потемки, чтобы зачать дите. Если бы любимый жил за краем света, где-нибудь на Аляске, она пробралась бы и туда. Выбора нет, когда его нет. Она зачала сына в долгую полярную темень и отослана была любимым к солнцу, в Урийск, и родила. Идет двенадцатый месяц – мальчик не держит головку. А и еще хуже – на крохотных

его пальчиках открываются раны и кровотечения. В детской консультации умудренный опытом доктор Фаинфельд назвал болезнь страшно – костным туберкулезом.

– Да, а где его отец? – строго спросил врач. – Почему в графе «отец» прочерк?

Мать молча покинула врача, она думала: долгая полярная ночь приговорила ее мальчика. Мать написала слезное письмо бабеньке, та ответила: «То кара за неверие твое, молись». Мать отыскала дорогу в церковь. Никольский храм в Урийске стоит на площади имени Сергея Лазо, рядом с памятником борцам революции, соседство не кажется странным, ибо две святости умеют ужиться рядом. Мать шла по площади и думала – здесь она девчонкой маршировала на парадах, красногалстучная и счастливая.

Она припала к алтарю; ее окружили старухи, им было в диковинку – молодая женщина обращается к распятию. Старухи-то и надоумили ее пойти к Полячке.

Полячка – это прозвище, а не имя и не фамилия – жила на другом краю города, окна ее дома смотрели с холма в долину Умары.

Полячка несла крест своего имени, придуманного урийцами, с редким достоинством. Возможно, это было у нее наследственным, но я-то думаю – благоприобретенным, нашим. Ибо Полячка давным-давно стала местной примечательностью.

Когда мать постучалась к ней, Полячка созерцала грозное наводнение, подступившее к холмам, Урийск стоит на холмах. Мать оробела. Она впервые видела женщину, о которой шла молва как о человеке, имеющем сговор с потусторонней силой. Весь облик Полячки подтверждал молву – с непокрытой головой она выглядела стройной и красивой женщиной в годах за тридцать, не более, одинокой и гордой. Созерцание грозного наводнения было для нее естественным и привычным. Но надо сказать – созерцать другие виды с холма невозможно: всю равнину окрест заполонили воды разлившейся Умары. Но мать оробела – красивая женщина наедине со стихией привела ее в трепет. И первые слова Полячки понуждали страх:

– У вас нет мужа, и то есть тайна ваша, – сказала она. – А мальчика вашего вы зачали в снегах и во тьме.

Мать опустила повинную голову.

– Но то, что говорят обо мне в этом городе, – продолжала Полячка, – а вы верите этому, сплетня. Я не шаманка. Я лечу травами.

Полячка пристально смотрела в глаза матери:

– Они, – она показала на город, – уж двадцать лет, как отреклись от трав. И чего они добились? Здоровье слабнет, нравы ухудшаются. Люди научились шпионить и доносить.

Мать слушала речь Полячки и заметила: сын, плохо принимавший чужие лица и слова, не плачет, сын слабо развернул головку к Полячке и слушает ее тоже.

– А мальчик ваш симпатичен мне, – вдруг сказала Полячка и длинными пальцами тронула щеку его.

Они прошли в дом. В доме все блистало чистотой и уютом.

– Если отец вашего мальчика отторгнут от вас, на что вы живете? Чем кормитесь?

– Я шью, – отвечала мать. – Бабенька подарила мне швейную машину «Зингер», и я шью, говорят, неплохо, так что расплатиться смогу.

– У, милая, не об этом забота. Беда привела вас ко мне, беду надо отвести. Может быть, я отведу беду. Но прежде распустим воск, я хочу знать рисунок судьбы.

Полячка открыла вьюшку, зажгла припасенные в печи лучины, набросила смолистые поленья, огонь взялся сразу. В мелкую посудину из светлого металла она положила бесформенный кусок воска.

Мальчик смотрел на Полячку добрым и кротким взглядом настрадавшегося человека, он видел блестящий предмет, водруженный на плиту, и пламя, пыхнувшее в печи.

Воск медленно оседал и таял, растекаясь по дну, и скоро растаял в желтое озерцо.

Полячка выставила мензурку на пол.

– Как звать мальчика?

– Сережа.

Полячка ладонью осенила мензурку и сказала:

– Сергей, умереть тебе или жить, яви правду, – и ладонь держала над мензуркой.

Воск холодел и прорисовывал очертания оврагов, мелких долин и урочищ.

Лицо Полячки необыкновенно прояснилось:

– Мальчик Серёнька, – сказала она спокойно и сразу сняла напряжение, – будет не просто жить в этом зачумленном городе, отрекшемся от трав. Мальчик станет знаменитым человеком, причем, в ранние годы...

У матери просеклась слеза. Ей было безразлично, каким человеком – знаменитым или безвестным – станет ее мальчик. Был бы он жив и здоров – единственная ее мечта, и потом – пусть нескоро – показать его отцу. Чтобы отец внял – она правильно сделала, тайно пробравшись к нему под Туруханск. Нет, не одна мечта, две мечты – пусть мальчик будет жив и пусть отец увидит сына.

– Покормите Сережу, – сказала Полячка, – я принесу молока, сделайте тюрю и покормите. Вам далеко идти?

– На Шатковскую.

– Прекрасная улица. Когда-то на Шатковской моя матушка все недуги исцеляла травами, а теперь и Шатковская свихнулась с пути истинного... А условия мои, Гутя, просты...

Мать подивилась – откуда и как Полячка знает ее имя. Полячка снова посмотрела в ее глаза:

– Имя принесли твои заказчицы... Да-а, условия просты. Как можно больше свежей растительной пищи, парное молоко. И мои процедуры выполняйте строго. Стоит вам разок... у-у, короед какой будет славный! – Она пощекотала мальчика, тот отозвался чистым, как колокольчик, смехом. – Стоит разок сплеховать, не исполнить мои начертания, и тогда никто не поможет вам, даже Бог. Впрочем, вы неверующая, как большинство в Урийске... А где вы работаете?

Мать ужаснулась вопросу, заданному вторично. В своем ли уме Полячка? Но та читала ее мысли.

– Ах, я ведь спрашивала вас, – сказала Полячка, но это нисколько не успокоило мать, потому что имя «Гутя» – если верить Полячке – принесли ей заказчицы, значит, Полячка уже дважды знала, где и кем работает мать. Но Полячка и это прочитала и сказала:

– Мысль моя западает. Я не то хотела спросить. Разрешают ли вам шить на дому?

– Да ведь Сережа все время болеет, а бабенька не с нами живет, в Сваринске. А отец-то...

– Так вам, урийцам, и надо, – засмеялась Полячка. – Так нам и надо. Бабеньки и отцы живут не с нами, и мы живем не с ними, подумать только, сколько нового напридумывали, семьи разорваны, а простые хворости одолеть не можем.

Она прошла по горенке и достала с полки пучок сухой черной травы, помяла стебель, понюхала пальцы:

– Ах, – сказала, – что за божественные запахи. На моей родине, под Краковом, единственное место, где растет это чудо. Понюхайте, голубушка.

Мать понюхала. Пахло не то розой, не то валерианой.

– Пошлите мужу, – велела Полячка. – Пусть пьет отвар по глотку в день, перед сном. Это поможет ему сохранить веру и память о доме. Не удивляйтесь, многие травы обладают свойством душе облегчение давать... А шьете на дому – это и к лучшему. Пойдемте-ка на огород, пойдемте...

Они прошли на огород, где каждая грядка выглядела ухоженной, посередине огорода стояли белокрашенный стол и скамейки, а вокруг стола и скамеек росли хризантемы, крупные и яркие.

– В горзеленхозе, – сказала Полячка, – занимаются массовой селекцией цветов. А я выращиваю для себя и для гостей. Сейчас я срежу вам три хризантемы, – она достала из нагрудного кармана ножнички и срезала три высоких стебля. – Сравните мои и горзеленхозовские!... Так и вы, не сомневаюсь, шьете хорошие платья. Когда-нибудь я закажу вам платье, и мы будем в расчете...

Мать заметила, что день на ущербе, а идти далеко.

– Сейчас я отпущу вас, – сказала Полячка, – только притисну Серёньку. Сиреневый Серёнька, зеленый мой листочек, ну-ка иди ко мне, ну-ка, ну-ка...

Мать подумала, не обломила бы головка у сына, так тонок стебелек шеи и так слаб, но сын ее загукал на руках у Полячки и головку держал крепко. Всю дорогу до дому, прижимая сына и хризантемы к груди, мать счастливо вздыхала и думала: «Покажу тебя, Сереня, отцу, и тогда мы заживем как все хорошие люди».

Снадобья, приготовленные Полячкой, были просты – мать купала сына ежевечерне в теплом настое ели и козьей ивы, а после ванн смазывала раны густой ноздреватой мазью с терпким запахом незнакомого растения, барбариса или дымянки, предположила Софья Гавриловна. Раны стали затягиваться и подсыхать, ладошки покрупнели, даже лицо растолстело. Мать однажды подумала: «Что это, неужто глаза заплыли у сиреневого Серёньки?» А, оказывается, личико Серёньки растолстело, и глаза в нем чуть утонули.

Мальчик полюбил целебные ванны, мать купила ему деревянную уточку, он пускал ее в воде и разговаривал с уточкой на тарабарском языке, и ранее не дававшиеся слова вдруг стал произносить разом, одно за другим, но с надставкой «утя»: «утяСоня», «утя-дождик», «утя-солнце»...

Мать писала отцу восторженные письма, читала редкие ответы. Мальчик не понимал взрослый язык неведомого отца, но сказал внятно однажды:

– Утя-папа, – мать затискала его.

Прошел еще год, мать освободилась от всех страхов, пела девичьи песни. Вдруг ее вызвали в детскую консультацию на контрольный осмотр, она пошла неохотно. В консультации все были удивлены видом оздоровившего Серёньки; бегали из кабинета в кабинет, собрались белохалатной толпой у Фаинфельда, рокодавшего басом, трогали Серёньку за руку и плечо.

– Уникальный случай, дорогие коллеги. Костный туберкулез в столь раннем возрасте не поддается лечению, – мать презрительно слушала поставленный голос.

Но тайны исцеления не выдала, лишь сказала, что применяла хвойные ванны – но то было правдой наполовину, и Фаинфельд что-то записал у себя в журнале.

Мать все ждала – вот Полячка принесет ей отрез, и она сошьет для нее платье, приталенное и строгое, такое и пристало носить волшебной пани. Но Полячка не показывалась на Шатковской.

Прошел еще год. Серёнька уже летал в соседние дворы, повадился поллитровой банкой пить козье молоко у Софьи и есть печеные сладости у соседей Савруевых, сам Савруев служил в райземотделе, крупчатка у него всегда была.

Мать как-то набралась смелости, выпросила у Савруевых туес муки, заквасила тесто, напекла всякой всячины, уложила в корзину и поставила бутылек черемухового вина, приготовленного Софьей Гавриловной, взяла за руку Серёньку, и они пошли через весь город в гости к Полячке.

Серёнька в дороге ничуть не устал, он знал, что они идут к той женщине, чей лик чуть потускнел в его памяти, но светлые ее глаза и мягкие руки ее он не забыл, и та женщина исцелила его.

Полячка встретила их как родных, ввела в горницу, мать достала припасы и вино. Полячка рассмеялась:

– Лекарственные настоечки принимаете? – и нюхнула. – Ай, какая прелесть. Нет, еще жива улица Шатковская, еще теплится дымок над ее трубами.

– Я ждала вас все время, – сказала мать. – Я пересмотрела старинные выкройки и журналы мод и выбрала для вас лучшее, спрятала за зеркало. Думаю, придет спасительница, я сниму мерку и сошью... Я всю жизнь шила бы для вас бесплатно...

Полячка подняла на колени Серёньку, обняла его и губами прижалась к толстым пальчикам, на них остались едва заметные шрамы:

– Мальчик мой, радость моя.

Мать залюбовалась, глядя на них. Полячка была гладко причесана и в темно-зеленом узком халате с крупными деревянными пуговицами. Полы долгого халата не разошлись, когда она села, и узко обняли ее крупные бедра. Розовощекий Серёнька в белой рубашке выглядел светлой бабочкой на зеленом поле; мать засмотрелась на них.

– Через мои руки прошло сто мальчиков и сто девочек, – сказала Полячка, поглаживая хохолок на Серёнькиной макушке, – а умер лишь один. Я подняла бы и его, но мать боялась ко мне идти, а когда кинулась, было поздно. Смерть этого мальчика приписали мне... Я, Гутя, ходила по снегу босиком три года, – застенчиво призналась она, – правда, не у Полярного круга, а поближе, под Тайшетом. Меня спасли травы, в Сибири есть удивительные травы.

– Я бы всю жизнь шила для вас бесплатно! – воскликнула мать.

– Да вы, Гутя, расплатились со мной сполна, – сказала Полячка. – Выпьем еще по рюмочке. Чудесное вино, и цвет янтарный, и вкус горьковатый... Да, да, расплатились, и с лихвой! После той печальной истории с мальчиком болезни не утихли в городе, и появилось много душевнобольных и испуганных. Растет число самоубийц. Раньше самоубийство было редкостью. Я лечу испуги и успокаиваю души, но после той истории, после Тайшета, ко мне никто уже не приходил, даже с дальних улиц. А тут ты с Серенькой явилась, а я в грязь лицом не ударила...

Мать улыбнулась ответно.

– К тебе, Гутя, идут заказчицы, а ты рассказываешь – врачи приговорили Серёньку, а Полячка подняла его. Рассказываешь?

– И сейчас рассказываю, и буду всю жизнь рассказывать.

– Ну, на устном слове нас тоже можно словить, – непонятно сказала Полячка. – И плотину прорвало. С болячками и хворостями идут один за другим. Вот ревмя ревет девочка, ей уколы, уколы, а у нее родименькой обыкновенная щетинка на спине, выкатать не умеют теплым тестом... И простые идут, и партийные... Ой, чуть не забыла, врачи крадучись приходили, выпрашивали, – дожили – как предупреждать коклюш... Да, и все норовят визит ко мне сохранить в секрете, таинственное время наступило... Так что расплатилась ты со мной наперед. Слово белошвей пошло золотом вдоль Шатковской и за пределы ее...

Так началась судьба мальчика по имени Серёнька, и пока он не потеряет родовое имя, затмить в памяти его Полячку никто не сможет – ни бабенька-вещунья, ни отец, внезапно свалившийся домой. Но отныне тайна рождения Серёньки стала двойной, ибо можно считать, что он родился дважды.

А мать, не отрывая памяти о муже и укрепив ее сыном, все размышляла, все думала о том, счастлива ли в этой окаянной жизни Полячка. В высоком доме, на обрыве, посреди огорода, у кухонной плиты счастлива ли она или прикидывается счастливой? Страждущие снова пошли цепочкой к ее калитке – довольно ли этого для счастья?... – оставив дом травницы, мать не умела забыть глаза травницы лучистые, речь ее быструю, подхватистую, радушие сердечное, расцветший огород, чистые некрашенные полы в горнице; и терпкий запах одиночества, настоящий на шиповнике или бадане – не уловить, забыть не могла.

Много ли надо человеку для полноты счастья? Полячка... Где родители ее? Где муж ее или любимый? Где дети ее? Где она сама пребывает, наблюдая с обрыва долину Умары? А,

может быть, она собирает в сундучке деньги червонец к червонцу, и это стало ее усладой? Нет, деньги не есть счастье Полячки... О, она думает облегчить страдания людские, вот ее радость. Но зачем она осчастливила мать и Серёньку, неужто для того, чтобы они, освободившись от недугов, ещё больше затосковали возле швейной машинки «Зингер» по любимому, по отцу?...

Нет, счастье без любимого, счастье без отца – обман, а не счастье или даже злосчастье. Ваня, где ты родимый? Пьешь ли по глоточку отвар и, если пьешь, почему давно не пищешь? Уже война захлестнула дальний угол Родины, уже агроном Савруев отпросился на фронт, и внезапно притихли вечерние голоса в Есауловом оду, – а где ты, Ванечка?...

«Я, Гутя, всю бумагу извел, посылая прошения в Москву, – отпустите и меня на ту полосу, где умереть легче, но и жить легче. Потому пишу вам редко, что живу ожиданием перемен. Ожидание приподняло меня над землей. Пятеро из нашего барака выпросились, и всем разрешили побывку перед той полосой», – мать выплакалась в подушку, получив эту весть.

Ей обещано последнее свидание с любимым. А не дадут свидания, как тогда жить? Серёньку баюкать и растить, оберегать от шалостей и тихо горбиться у швейной машины... Выходит, последнее свидание с любимым – тоже счастье, пусть беспросветное, но счастье. Скрадываясь от сына, мать стала молиться, неумело осеняя себя знаменiem под иконой Албазинской Божьей матери, икону подарила бабенька. Два подарка бабеньки прописались в их доме – машина «Зингер» и икона.

Следом за Савруевым-отцом ушел и сын его старший и быстро сгорел, в одну зиму, опередив отца, и пришел черед младшего Савруева, Петеньки златокудрого. У Маруси глаза выхлестнуло ветром, когда она провожала последнего брата. Все поминально молчали, когда Петенька в обнимку с сестрой сидел и пил черёмуховую настойку. Отроческим голосом Петенька сказал, обращаясь к немому Игнату:

– Ты, Игнаша, единственный теперь мужчина на дворе. Ты и Серёнька. Берегите Гутю, Софью Гавриловну, Марусю берегите.

Игнат утопил корявое лицо в ладонях. Немые тоже умеют плакать, но лучше бы они не умели плакать.

Эшелон уполз на Запад, а в эшелоне златокудрый Петенька. И явился незнакомый человек, обежал двор вокруг, потягивая носом запахи июня сорок второго года, ткнулся в ворота, а в воротах мальчик русоволосый. Бесенята взыграли в бедовых глазах незнакомца.

– Ты чей, мальчик?

– Мамин.

– Ясно, мамин. А еще чей?

– Тетин Гутин.

Незнакомец схватил мальчика на руки, голову стриженую уткнул в рубашонку и спрятался от мира на миру. Серёнька заорал благим матом, мать выскочила на крыльцо – незнакомый мужчина обнял ее мальчика и, притиснул, не отпускает, лица не выказывая. Мать кинулась освободить сына да силенок у нее не хватило разжать клешни незнакомца, но лицо он отнял – мать опустилась на колени, обняв сапоги незнакомца. В виски ударило – вот оно, последнее свидание с любимым, с отцом. Господи, куда ему идти на фронт – кожа да кости, глаза, поблекшие в полярной ночи, сутулая спина и впалый живот (брюки на веревочке).

– Серёнька, то папа твой.

Серёнька навзрыд заплакал. Ему не хотелось, чтобы этот страшный человек был его отцом. Мать тоже заревела, но опомнилась – Серёньке отец не глянулся, но она клялась себе, что сына покажет отцу; и она сказала:

– Смотри, Ванечка, наш мальчик. У него русский хохолок на макушке точь-в-точь твой. Смотри, у него твои карие глаза. Смотри, шрамики на пальцах, приговорили врачи, а я вымолила Серёньку... Ой, Ванечка, а что это у тебя с рукой, где твой-то пальчик указательный?

– Отморозил, – сказал отец.

– И ты – воевать?

– На левой руке не в счет, и всего один палец. Гутя, мне на побывку...

– Молчи, молчи...

Ему дали на побывку три дня.

Первые часы были суматошными. Мать накормила отца с гряды редисом и огурцами, молодым чесноком и укропом.

Серёнька наблюдал, как отец – незнакомый мужчина – примеряется то к лопате и граблям, то к топору, но тут же бросает все, садится на крыльцо, смотрит в огороды, и в груди у него хрипит.

Мать нагрела воды в эмалированном широком тазу, вынесла в сени, помыла отцу голову, прогнала Серёньку и мыла отца нагишом, и вот сидит он в белой исподней рубаше, в савруевских брюках (Маруся подарила братовы брюки), – и – суматоха отошла, день склонился к вечеру. Надо говорить или молчать. Отец и мать молчали, Серёнька принес измочаленную уточку, букварь, хотел похвастаться своими сокровищами, но отец и мать молчали, и Серёнька примолк, исподлобья бросая взгляды на родителей.

Постучалась Софья Гавриловна, присела на табурет, тоже молчала и, уже обратно переступая порог, сказала:

– Ты там моего не встречал? – и поняла нелепость своего вопроса, ушла.

Серёньку уложили рано спать, в полночь он проснулся, услышав шепот. Говорил отец:

– Знаешь ли, Гутя, сколько прекрасных людей довелось мне повидать за семь лет, и почти все теряют веру, это самое страшное, что можно представить...

– Полячка возвращает веру, Ваня.

– О-ей, завидую Полячке.

– Ванечка, она говорит то же, что и ты, но она врачует недуги, значит, сама она верит и другим передает веру. Она ловко обманула меня, я позже докумекала. Печь затопила и распустила воск, по воску, говорит, рисунок Сережиной судьбы хочу знать. Рисунок вышел счастливый. Я на крыльях мчалась домой. А после догадалась – это она окрылила меня, чтобы я верила в нее. Вот и ты верь...

– Да во что, Гутя, верить?

– Да хоть в меня, я стойкая женщина, и в Серёньку верь, ему судьба выпала завидная.

Отец горько рассмеялся. Мать горячо прошептала:

– Ну-да, отца-то нет и не предвидится, и вот он, месяц ясный, явился, и завтра канет, что завидного?... А Полячка сказала – будет сын ваш знаменит на весь Урийск. И бабенка пророчествует о том же. Так ты верь в сына. Когда пробралась я к тебе и забеременела, и ты отослал меня, хуже ли стало тебе жить?

Отец что-то сказал, мать счастливо ойкнула, и снова шел шепот. Серёнька провалился в сон.

Утром Серёнька хотел встать раньше всех, но проспал. Отец перебирал прясло и пел при этом, отцу помогал Игнат.

Отец пел:

– Встань, казачка молодая, у плетня,
Проводи меня до солнышка в поход...

Серёнька выскочил на крыльцо, отец бросил топор, кинулся к сыну, посадил на загорбок и крикнул мать.

– Игнат, без меня справишься? Или оставь до обеда, мы пройдемся по городу, мы быстро.

Серёнька верхом выехал на Шатковскую, верхом плыл по Инженерной. Мать снизу вверх смотрела на сына и приглушенно смеялась, потом сказала:

– Ванечка, я откормила его, тебе тяжело,пусти его, он хорошо пойдет рядом, – но отец воспротивился, и еще долго Серёнька плыл, вознесенный на отцовских плечах. Прохожие раскланивались с матерью.

Мать купила входные билеты в Есаулов сад и там еще раз купила билеты в загородку, на качели. Отец велел матери сесть в лодке, а Серёньку поставил на корму, сам встал напротив, они поднимались до вершин берез и опадали, у Серёньки под ложечкой холодело.

Они добрались до рынка, отец взял три чеплашки морса. Морс исходил пузырьками и бил в нос, Серёнька чихнул, но морс допил. Отец, смакуя удовольствие, вытер ладонью Серёнькины губы.

– Видишь, как много на земле счастья, а ты не верил...

Отец, притупив взор, молчал.

– Я бы сводила тебя к Полячке, но ты побоишься узнать рисунок судьбы.

– Не надо, Гутя, Полячка не обманет меня.

– Ох, Ванечка, не настраивай себя к гибели.

– Что ты, что ты, Гутя, я хочу жить и надеюсь выжить, но посмотри, на улицах совсем нет мужчин. Куда подевались мужчины?

– Ванечка, прошу тебя, не надо. Вот рядом с тобой идет мужчина, ишь, как важно выпшгивает...

Серёнька понял – о нем речь и сказал:

– Папа, я тоже пойду на войну, научусь стрелять в немцев...

– Стрелять научиться не мудрено, сынок. Лучше бы не уметь.

– Ванечка, я куплю тебе эту рубашку, посмотри, она легкая и светлая.

– Гутя, зачем мне рубашка, я и в этой до места доберусь.

– Нет, я куплю рубашку. Да ты не бойся, я скопила рублишек.

– Ну, купи.

Мать приценилась и взяла рубашку. Рубашка льняная, под цвет неба. Они прошли на зады полупустой барахолки, мать велела немедленно одеть рубашку. Отец не сопротивлялся, снял заношенную рубаху и надел льняную. Мать застегнула перламутровые пуговицы, припала к отцу, и так, на виду всей барахолки, стояла минуту. Серёнька затосковал, у него предательски щипало глаза.

Мать вдруг сказала:

– Ванечка, я совсем забыла, ты ведь хочешь выпить?

– Нет, я не хочу выпить, – отвечал, улыбаясь, отец. – Я, Гутя, отвык от спиртного.

– Ну, ты не хочешь, так я хочу, – с вызовом сказала мать. Сейчас мы зайдем в летний павильон, девочки дадут нам по стакану вермута. Он слабенький, не бойся, Они зашли в летний павильон, это была открытая веранда с круглыми столиками и венскими стульями. Ветер шевелил бумажные шторы. Мать выбрала столик с видом на запущенную аллею Есаулова сада и усадила мужчин.

– Боже, – сказал отец, – никакой тебе войны, и Туруханска будто бы и нет на свете.

К ним подошла официантка в белом кружевном переднике и в кружевной шапочке.

– Девушка, принесите нам вина, и что-нибудь поесть. Он голодный как волк, – мать показала на отца.

– Ну, Гутя, это ж неправда, я сыт...

– Молчи, ты голодный.

– У нас только жареная горбуша, – сказала официантка.

– Господи, – прошептал отец, – только горбуша жареная. Семья в раю.

– Гарнир только фасоль.

– Господи, моя любимая фасоль, – прошептал он снова и хохолок прибил на голове у Серёньки.

Официантка ушла, мать поднялась следом.

– Гутя, сиди, – робко сказал отец.

– Я сейчас.

Мать пошептала со знакомой буфетчицей – «он пришел и уходит» – и та подала ей три тонких фужера и пачку «Дуката».

– Мы будем пить вино из фужеров, а ты будешь курить «Дукат»...

Серёнька увидел, как глаза отцовы повлажнели. Мать плеснула Серёньке одну каплю:

– Для аппетита, а нам налей по половине.

Отец неловко взял граненый графин и неловко налил в фужеры вино, явно обделив себя. Мать взяла из его рук графин и долила.

– Гутя, – виновато сказал отец, – я отвык от этой посуды и вообще...

Мать погладила ему руку, они помолчали. Серёнька уже признал в отце отца, но все еще смотрел в стриженое его лицо с недоумением. Он чувствовал – за спиной стоит беда и бесшумно машет темным крылом. Он оглянулся – в сквозных проемах летнего павильона березы и дубы шелестели листвой, а вдаль дворник, похожий на толстого снегиря, мел аллею.

– Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не забудь, – сказала мать, все еще держа руку свою на руке отца. – Сережа, пригуби.

Мать и отец наблюдали, как крохотный их сын пригубил пустой фужер, и, держась за руки и глядя друг другу в глаза, выпили вино.

Отец закурил, мать сказала:

– Ванечка, не сердись, я закурю тоже.

– Я не сержусь, – отец протянул матери папиросу, поднес зажигалку, но вдруг закашлялся:

– Я привык к махорке, Гутя, – сказал он.

– Скоро и я буду курить махорку, нищета урийская, – сказала мать, – Сижу за машинкой, думаю о тебе и так охота закурить. Не сердись, Ванечка.

– Что ты, что ты, Гутя... Серёня, ты поешь рыбки, ты не печалься, все будет хорошо. Придет день, мы гульнем по Есаулову саду. У тебя будет невеста в платье с гипюром и в лаковых туфельках, ты позовешь и ее, и мы гульнем. Папиросы «Дукат» будут продавать открыто и лучшее вино...

Серёнька потыкал вилкой в тарелку.

– Гутя, ты не забыла, сколько мне лет?

– А ты – сколько мне?

– Тебе, Гутя, семнадцатого сентября исполнится двадцать четыре года. Когда ты пробралась ко мне, тебе и восемнадцати не грянуло. Я долго потом думал, откуда ты взялась такая.

– Какая?

– Ранняя и любимая.

– И надумал?

Отец вздохнул полной грудью и быстро сказал, скороговоркой:

– Не вздумай долго вдовствовать.

– А тебе четвертого декабря исполнится двадцать семь. Ты правильно сделал, выбрав меня. У тебя был выбор. После тебя, Ванечка, останется он, и никого в мире, запомни, милый, Ты правильно сделал, что выбрал меня... Давай выпьем еще и пойдем, Серёньку жалко.

– Мамочка, да что жалеть меня, я поел и сижу, вы не торопитесь, я сегодня спать не хочу. Папа, – Серёнька впервые назвал отца отцом, – мама днем запикивает меня спать. Мне неохота, а она велит спать. А я глаза закрою и не сплю.

Отец сказал:

– Сегодня ты не будешь спать.

– Ты здесь, Ванечка, прикоснулся ко мне впервые, на танцах, – мать показала в аллею.

– Ага, объявили танго... Эх, забыл, как же оно называлось.

– «Брызги шампанского»...

– Во, эпоха индустриализации, сплошные воскресники, голодуха, на «Автозапчасти» аврал за авралом – и «Брызги шампанского»...

Мать засмеялась. Вино раскрепостило ее, она засмеялась как девчонка:

– А и правда странно. Красные воскресники под аргентинское танго...

– Это Урийск, – сказал отец, полужакрыв глаза, – это наш удивительный город. Мы детьми, помнишь, помогали взрослым садить дубки и березы, но эти мелодии уже ворвались в Урийск и осели. Все аресты в нашем городе шли под эти мелодии...

– Ты не ошибся во мне, Ванечка, – сказала мать. – И у нас вырастет сын, запомни, он будет таким же чистым, как и его отец...

Они поднялись.

– Ого, – сказал отец, – придется тебе, Серёня, самому топать, а я хотел прокатить еще тебя. Нет, вы посмотрите на добровольца, доброволец окосел с одного стакана вина...

Отец чуть качнулся. Мать взяла отца под руку и потерлась носом о его плечо.

– Ванечка, я часто припоминала запах твоих рук, и вот сейчас прорвалось, – она прижалась к его плечу и постояла так долю минуты.

На пороге их догнала буфетчица и сунула матери сверток:

– Возьми, Гутя, это от меня.

И день второй погас. Серёнька снова дал слово проснуться раньше всех, перелезть в постель к матери и отцу, и снова проспал. Он очнулся, когда услышал:

– Серёнька! Мальчик Серёнька, выгляни в оконце! Папа подарок тебе привез.

Серёнька открыл глаза – комната залита голубым утренним светом, по лоскутному одеялу гуляют веселые лучи солнца. Серёнька потянулся со сна и снова услышал:

– Да выгляни же в окно, сын!

Серёнька встал на тряпичный коврик, приподнял марлевою занавеску и увидел приплюснутый к оконному стеклу нос отца. Отец смотрит на Серёньку молча, худое лицо его расплывается в улыбке.

– Смотри, сын, из лесу принес, – отец показывает на большой ствол, будто измазанный белилами.

– Вишь, – говорит отец, – готовым деревом посадил. Ухаживай. Береза ласку любит.

Вечером отца повезли на запад. Он был грустен, отец, но держался бодро. Он гладил по плечу мать. Когда вокзальные склянки пропели отправление, он больно прижал Серёньку к груди. Громогласный старшина объявил прощание законченным, двери теплушки заперли. Отец попытался пробиться к окну, но сумел высунуть только руку с ущемленным пальцем. Серёнька узнал руку отца. Состав дернулся и повез руку отца. Мать – странно – не плакала. Но лучше бы она плакала, Серёньке было бы легче.

И на пустом перроне Серёнька понял – месяц ясный канул. Может быть, он есть где-то далеко-далеко отец, но во двор он никогда не придет и в окно не постучит. Да, это так, в окно он никогда не постучит.

А взрослая береза осталась. По березе Серёнька представляет отца и разговаривает с ним.

– Земля у нас больно худая, один песок. Не приживется дерево, папа.

И отец – то есть береза – отвечает:

– Не бойсь, укоренимся, выживем.

О разговорах с отцом Серёнька не рассказывает матери, боится расстроить.

Перед сном, в летние дни, Серёнька берет цинковые ведра и бежит к железной дороге. Там, на запасных путях, пропахших мазутом, стоит цистерна с водой. Серёнька несет домой полные ведра, капли не уронит. И медленно, чтобы почва успевала проглатывать воду, выли-

вает к самому комлю ведра и снова бежит на запасные пути. В засуху березу не насытишь – пьет и пьет.

Но прав был отец: береза потеряла листву на нижних ветках, а потом окрепла в гнезде, достав крышу, пошла вширь и к осени на второй год после ухода отца стала похожа на осанистую тетю Марфу, так звали жену Титаника.

1979

Гибель Титаника

Титаник появился во дворе, когда судьба березы уже не вызывала опасений у Серёньки, хотя он продолжал ухаживать за деревом. Это была дань памяти отца.

И вот появился Титаник. Титаник – это кличка, а не имя. У человека должно быть имя, а у Титаника имени не было. Во дворе за глаза все стали звать его Титаник. И всё. А в глаза его никак не звали.

Титаник работал в КЭЧ. Серёнька не понимал, что означает это слово – КЭЧ, и почему-то решил, что Титаник должен ездить за моря. Дело в том, что Титаник походил на пароход. Человек вообще-то не может походить на пароход, но Титаник был вылитый трехпалубный океанский лайнер. Ему потому и кличку-то дали ненормальную, зато как припечатали – Титаник.

В Урийске вообще мода такая – всем клички давать. На Чесноковской живет Кеха-американец. Кеха всем врет, что родом он из Америки, хотя старожилы знают: Кеха как родился на Чесноковской, так всю свою непутевую жизнь и прожил там. Есть в Урийске Илюха-холодный и Илюха-горячий, близнецы, коренастые забияки, причем драки всегда начинает Илюха-холодный. Крикнет во всю мочь:

– Братка, не могу терпеть больше! – и бьет обидчика коленом под дых, в живот норовит угодить.

Скажу попутно – в пятьдесят втором году в Урийске внезапно загорелась центральная котельная, да, представьте себе – котельные тоже могут гореть. И первым по подозрению в диверсии, взяли Кеху-американца. Кеха шел в наручниках через весь город, и город приспустил флаги – он был доморощенным космополитом, Кеха-американец, но поджигателем – нет, никогда. Через полгода Кеху освободили по многочисленным жалобам урийцев, и, припадая на разбитое уголовниками колено, Кеха снова вписался в пейзаж города и украшал его.

А в соседнем с Серенькой доме живет Маруся Безотказная. Раньше Серёнька думал, что такая у Маруси фамилия, а позже узнал – кличка это у нее, невеселая и точная.

Ну, а Титанику – Титаниково.

Случайно не помните мотивчик такой, он раньше был знаменитым, «Гибель Титаника» назывался?

Немтырь Игнат, он тоже живет на Серёнькином дворе, умеет при закате играть на гитаре, коронный номер Игната вальс «Гибель Титаника». Мелодия простенькая.

И вот день на ущербе. Окончив служебные хлопоты, во внутренние свои моря плывет прямая спина Титаника, большая его фуражка. Этажом ниже плывет ладный китель.

Игнат сидит на ступеньках крыльца, чуть трогает струны:

– Там-гим, там-там...

Титаник не знает, что Игнат специально незатейливой этой мелодией встречает его у родного причала.

Титаник еще за калиткой рокошет, будто гремит якорной цепью, и пускает клубы дыма. Навстречу бежит Вячик, сын его, приятель Серёньки. Вячика бьет падучая, но Серёнька завидует Вячику – у Вячика есть отец, а у Серёньки отца нет. Вячик, как юркий катерок, подстраивается к борту Титаника. Титаник спрашивает:

– Шпана смирно ведет себя, Вячеслав?

– Все хорошо, папочка.

– Но-но. Главное, чтобы шпана была смирной.

Шпана – население двора, где живет Серёнька.

Можно назвать всех по именам, это недолго. Игнат, он слесарит в бытовке на базаре, медную и цинковую посуду латает. Игнат нем, но слух у него прекрасный. Внезапно услышав

из черной тарелки репродуктора «Полонез» Огинского, Игнат замирает и бестрепетно стоит там, где застали его чудные звуки... Мама Серёнки – ее зовут Васильевна, она белошвея и обшивает весь двор. Сам Серёнка шпана отпетая. Есть еще Софья Гавриловна Гавловская, уютная старушенция по кличке «Не Китай»: есть у нее на все такая присказка. Странно, Софье Гавриловне прозвище очень понравилось, и она отзывается на него. Да-а, Софья Гавриловна тоже шпана.

Титаник пришел как-то в подпитии, уже сумерки витали над округой, тренькал на гитаре Игнат. Пахло спелым укропом с огорода. Серёнка напоил березу и сидел в комнате, читал «Тайну красного озера», книжку про Сихотэ-Алинь.

И тут громовая октава трансатлантического лайнера потрясла двор:

– А ну, шпана, по избам! Хочу один думать. Живо, кому говорю...

Серёнка сердце свое зажал руками и чуть не заплакал от обиды. Ну почему, почему так не повезло их двору? У Маруси Безотказной на дворе, бывает, плачут солдатики, ссорятся пацаны, но в другие дни Серёнка ходит к соседям в гости: Серёнку любят одинокие женщины, угощают его чаем, а Серёнке кажется – даже товарняки будто на цыпочках прокрадываются вдаль, боясь потревожить мир на дворе у Маруси Безотказной.

А дома, на Серёнкином дворе, негласным монархом стал Титаник. Монархи бывают злые и несправедливые, нудные и отходчивые, крикливые или молчаливые. Титаник же бывал добр, но доброта Титаника не грела Серёнку и двор.

Зимой, когда обвальные снегопады перекроют все тропы и к железной дороге на санках не продерешься, Серёнка воровал уголь. Едва стемнеет, Серёнка уносит в куле по полпуда угля каждый раз. Со временем Серёнка овладел всем примитивным арсеналом хитростей, и даже путевые рабочие не подозревали в Серёнке мелкого вора – Серёнка приделал лямки к кулю, получился вещевой мешок, мальчик надевал его за плечи и держался уверенно, мог даже спросить: «Тетенька, вы не видали туточки нашей козы, с темным пятнышком на лбу?»

Но подросток Серёнка, жизнь полегчала – стыдно стало воровать, и Васильевна выписывала уголь на топливном складе. А на топливный склад с кулем не побежишь – засмеют; и женщины, осенив себя знамением, ходили к Титанику просить машину.

Титаник отмалчивается, как министр, неделю, сосет наборный мундштучок, и все уже думают: отказал, отказал. А октябрь на дворе, дом продувает по ночам, и к ноябрьским обещают по радио большой мороз.

Но вот в полном парадном выходит Титаник на крыльцо. Хромовые сапоги начищены Вячиком до ледяного блеска, прямо не сапоги, а вазы с длинным горлом и синим букетом галифе над ними. Огромная фуражка прикрывает голову монарха. Сквозит ветер, гудки паровозов резки, как нож.

– Все на крыльца! – приказывает, не надрывая глотки, Титаник.

Игнат тотчас выходит на улицу, Софья Гавриловна тоже выходит, и Серёнкина мама, и тетя Марфа. И Серёнка.

Они остаются каждый на своем крыльце, но Серёнке кажется, что все они стоят в строю. Софья Гавриловна даже руки по швам держит.

– Слушай сюда! – говорит Титаник. – Завтреть приготовить гроши, дам транспорт под уголь. Вопросы есть?

Софья Гавриловна поднимает ладошку:

– Мне бы пиленых дровишек. Игнат поколет, а я на растопку буду их сушить, поленницей пристрою за сараем.

– Слушай в последний раз, – рычит Титаник. – Завтреть машину даю под уголь. То не означает, что дров нельзя привезть. Игнат пушай поможет.

Никто никогда не осмеливался отвергнуть благодеяния Титаника, и Серёнке стало казаться, что так было и будет вечно. Вырастет Серёнка, на инженера выучится, придет рабо-

тать на Сплавную, а там командиром окажется Титаник. Переселится Серёнька с матерью в новую квартиру, а комендантом горкомхоза будет Титаник.

С замиранием сердца думал Серёнька, что же случится с двором, если однажды Титаника не станет? Ох, мурашки по спине!...

Кто дров привезет? Кто скомандует огород садить, кто всех на пляж сведет?...

Был и такой грех за Титаником. В воскресный июльский день Титаник вывел всех на улицу и приказал:

– Смотри наверх. Светило ярится. Смотри вдаль. Чистая кудель облака... Идем на Песчаное купаться и возгорать.

Софья Гавриловна, бедная, чуть не упала на колени и взмолилась:

– Пощади старую, Титаник! – со страху-то в глаза назвала его по-дворовому.

– Возгорать будешь, к зиме устойчивее пригостишь себя, – отвечал с неумолимой гримасой Титаник, построил население двора в затылок друг другу и привел на озеро. И то спасибо – на озеро, а мог бы утащить на Умару, она в семи километрах от города.

На озере Песчаном Титаник освободил женщин от опеки, но Игнат, Серёнька и Вячик по счету Титаника падали в воду и по команде выходили на берег.

– Что вы без меня делать будете? – говорил, сидя в черных трусах на песке, Титаник. Трусы шестидесятого размера по заказу тети Марфы шила серёнькина мать. – Погибнете, утопнете то есть.

И Серёньке мерещилось – погибнут, точно. Он представлял в картинах: огород в запустении, рассада огуречная пожухла в парниках, капуста выветвилась, не уродила. Береза, посаженная отцом, увядает под окном...

Серёнька невольно, как и Вячик, научился быстро исполнять указания тирана и преданно смотреть ему в глаза; Титанику нравилась перемена в мальчугане – раньше волчонком огрызался, а теперь на лету слово ловит.

А нынешним летом и Титаник подобрел, оказывается, природа тирании способна на неожиданные ходы. Но торопиться не будем.

За ужином, растелешившись без свидетелей, Титаник втолковывает Вячику:

– Друг твой Сергей дисциплину блюдет, по моим стопам пойдет. А кто ты есть? Больной? Нет, ты шпана, шалопайством прикрываешь недуг.

Вячик терпел речи Титаника, только поддакивал, но однажды, побелев, сказал вдруг:

– Да, папочка, понял я, плохой я у тебя сын, – тут губы Вячика предательски задрожали, глаза расширились, но в полуобмороке он успел спросить почти шепотом: – А зачем ты, папа, на вокзал все ходишь и ходишь?...

И Вячик забился в падучей, тетя Марфа прижала сына к груди, а Титаник как сидел с бараньей костью у отверстого рта, так и онемел.

Через минуту, когда Вячика перестал колотить приступ, Титаник сказал:

– Но-но, – и вышел на крыльцо с сигаретиной. И молчал сутки, и потом молчал. И никто ничего понять не мог. И Серёнька не понимал, зачем молчит Титаник. И нет ли в молчании его тайной угрозы?

Серёнька допрашивал Вячика. Вячик поджимал бескровные губы и тоже молчал.

А в дом поступил еще один сигнал, и двор замер от неожиданности: при всем честном народе Титаник взял за вихры Вячика и Серёньку и поцеловал их в светлые лица.

– Ягнята вы мои, – сказал он и застонал будто.

Все оказалось до обидного просто – Титаник влюбился. Никто не застрахован от любви в самом неподходящем возрасте. У Серёньки была любимая девочка Настя Коноплицкая, тонкорукое существо с красным бантом на черной головке, с точеной матовой шеей. Давно, еще в третьем классе, Серёньке приснился сон – будто теплой своей ладонью Настя прикоснулась ко лбу Серёньки, и он погиб, погиб безвозвратно.

Влюбился и Игнат. Он влюбился в Марусю Безотказную; Титаник, узнав об Игнатовой любви, немедленно велел ему жениться. Маруся тоже мечтала о домашнем уюте, но сомнительная слава мешала ей выбрать достойного человека, а на немой зов Игната она стыдливо не отвечала.

Но вот как-то вечером, когда Игнат и Маруся привычно сидели каждый на своем дворе и через огород томительно смотрели друг на друга, Титаник, накинув для пушей важности китель, пошел к соседям, взял Марусю за руку, привел ее к Игнатову крыльцу, соединил их руки и изрек:

– Будьте как муж и жена, черти полосатые! – сотрясая громом пристанционную часть города, Титаник счастливо рассмеялся. Судьба Маруси и Игната была решена.

А следом и Титаник попался в сети. Некогда возлюбленной Титаника была его жена тетя Марфа, такая же послушная и тихая, как все обитатели Серёнькиного двора. Под стать Титанику тетя Марфа выглядела великаншей, в общем, это была пара. Из топографического отряда Титаник привез две солдатских кровати, сварил их, получилось королевское ложе, и иногда по ночам дом на Шатковской слышал, как в топках Титаника бушевало пламя.

С годами, однако, пыл Титаника угас, и забвение он находил на службе. Титаника ценили в квартирно-эксплуатационной части, по заслугам ценили. Неуклюжий Титаник вовремя дома офицерам и сверхсрочникам ремонтировал, мосты в топографическом отряде – смету обманул – новые построил; в бильярд играл с сослуживцами самозабвенно. И на родном дворе Титаник оказался незаменим. Особенно поразила всех прозорливость его: ведь это надо же, перехватил потаенные любовные взгляды и судьбы соединил. Библейская слава постепенно окутывала Титаника, у Васильевны выросло втрое больше заказчиц – женщин тянуло вблизи посмотреть на легендарного человека.

Серёнька, подрастая, думал неустанно, да чем же он, Титаник плох? Работает с зари до зари. Огород наравне с женщинами возделывает, на пляж водит все население двора, пусть под конвоем, но не уголь же воровать водит, а купаться...

Потому малейшие перемены в настроении Титаника все больше отзывались на каждом, каждого лично задевали грустные воловьи глаза Титаника, а необъяснимая агрессивность тети Марфы вызывала неприязнь у женщин во дворе.

Серёнька заметил, что тетя Марфа невзлюбила все железнодорожное. Раньше вместе с Вячиком Серёнька бегал по воду на запасные пути, и вдруг Вячику велено не брать воду на путях, а ездить с бочкой к колонке. Колонка была на два квартала дальше, а главное – вода-то из цистерны хлоркой не пахла.

В буфете на вокзале время от времени продавали соленую горбушу. Васильевна отмачивала рыбу и мариновала – пальчики оближешь. Тетя Марфа тоже научилась мариновать горбушу. Но уже третий раз тетя Марфа запрещает Вячику стоять с Серенькой в очереди на вокзале за горбушей.

И во всем облике Титаника – к нему Серёнька присматривался особо – сквозила странная меланхолия.

Утро. Титаник чисто выбрит, белый подворотничок туго облегает шею. Ну, о сапогах говорить нечего. Но – прозорлив Серёнька – уже и утром Титаник рассеян. Он совершенно поштатски приветствует Игната и Марусю, когда те выскальзывают на улицу.

Полдень. Титаник меняет костюм и уходит в брюках навывпуск. Уходит он, пряча в глазах остренькие огоньки, тетя Марфа провожает мужа смурным взглядом.

Вечер. Уже два часа, как Титаник должен быть дома, но появляется он к десяти. Титаник в размагниченном расположении духа, и двор смятенно припоминает Титаника грозного и Титаника грубого; нежный же Титаник приводит всех в тягостное недоумение.

С поволокой в глазах Титаник входит в калитку, потом – стыдно сказать – достает корочку хлеба из кармана и тихо зовет:

– Нюра! Нюра!

Озноб холодит лопатки Серёньки, когда он видит, как коза Нюра, ранее ненавидевшая Титаника, идет безбоязненно к нему и берет корочку из его рук.

Титаник садится на крыльце.

– Васильевна, – глухо обрабатывая слово, роняет Титаник. – Я потухший вулкан... Я живу по колено в пепле...

Васильевна, улыбаясь, молча обряжает сына. На Серёньку надевают ситцевый сарафан. Зовут и Вячика. Вячик скидывает майку, и через голову на него натягивают юбку-колокол, а кофточку застегивают потом. Раньше на Серёньку и Вячика мерили платья девочек-крохотуль, а тут мальчишки вытянулись, и на них меряют платья девочек-подростков. Спереди на грудь кладут ватные подушечки, чтобы получился бюст, и мальчики выплывают на середину двора.

Титаник, аккуратно ударяя в ладоши, аплодирует им. Они и правда хороши. Серёнька похож на светловолосую девушку с кротким, но победительным взглядом, а у Вячика профиль Насти Коноплицкой. Серёнька обмирает, когда видит Вячика в странном вечернем костюме...

Но лето идет на убыль. Тускнеют закаты, августовские дожди вздувают ручьи; на Урийск наваливаются останние деньки бабьего лета. Двор готовится к сбору урожая. Игнат ладит свадьбу с Марусей, по его заказу Серёнькина мама шьет невесте розовое маркизетовое платье в оборках. Маркизет сильно тянется, это раздражает Васильевну, но она крепится и бесплатно шьет платье, грех с Игната копейку взять.

Софья Гавриловна носит по охапке из оврагов пахучее сено для Нюры.

Серёнька и Вячик, забыв про уроки, гоняют на старом велосипеде по улицам Урийска.

Одна тетя Марфа тоскует, сердце подсказывает ей ежечасную тревогу. Она уходит куда-то из дому, дважды Серёнька видел тетю Марфу на вокзале, она сидела среди отъезжающих, прикрывшись косынкой, и будто не узнала Серёньку. Но беду тетя Марфа, страдалница, провонила.

Присушница Титаника работала дежурной на станции Урийск. Звали ее Катя, Катя Черепанова. Была она деваха видная, полнотелая, с копной каштановых волос, на которых чудом держалась нестерпимо красная железнодорожная фуражка.

Каждые два часа или через час Катя Черепанова выходила с жезлом на перрон, проскакивал товарняк или скорый (тогда скорые не останавливались в Урийске). Катя держала высоко жезл и снова возвращалась в каморку, слушала по селектору голоса соседних станций:

– Первый дробь шестнадцатый миновал Айканов.

– Урийск! Урийск! Из Сваринска с опозданием на сорок минут вышел Хабаровский.

Айканов и Сваринск – такие же райгорода неподалеку от Урийска.

В тесную каморку наведывался влюбленный Титаник. К станции он прокрадывался дальней дорогой, по-за складами, забитыми трофейными товарами. Так не раз слышал Серёнька – товарные склады ломаются от немецких и японских трофеев. Басни эти рассказывал опять же Кеха-американец, и близнецы Илюха-холодный и Илюха-горячий били его за брехню, но Кеха неисправим.

Шелка, туфли, швейцарские часы, дождевые пестрые зонты – чего только не было на складах, в воображении, конечно, Кехиамериканца. На самом деле склады были забиты товарами ширпотреба, хозяйственным мылом, концентратами. Ночные пижамы – досужее изобретение портных из Бердичева – прибыли огромной партией и хранились на складах, недавно их выкинули в промтоварные магазины – урийцы с ума посходили. Достать полосатую пижаму и сидеть в ней, отходя ко сну, стало делом чести любого уважающего себя урийца.

Минуя товарные склады, Титаник выходил на перрон с противоположной стороны и, крадучись среди ив, пробирался в служебную комнату Кати Черепановой.

В тот злополучный день неосознанная тревога заставила Титаника срочно ретироваться с вокзала. Трусцой он пробежал перрон, поправил фуражку и вышел на божий свет. Скоро он

встретил двух солдатиков из топографического отряда; по укоренившейся неизлечимой привычке Титаник сделал внушение солдатикам за неуставной вид. Когда солдатик прыснул и побежал от него, Титаник должен был догадаться, что происходит что-то неладное. Но Титаник, укрощая невнятную тревогу, достал наборный мундштучок, закурил – что делал на улице чрезвычайно редко – и пошел, не торопясь, по Шатковской к дому. Он отпускал внезапное вокзальное волнение и старался думать о постороннем.

Титаник совсем уже успокоился, когда увидел родные места – жидкую рощицу, мосток через ручей и старую березу под окном у Васильевны. Из-за угла вынырнула Софья Гавриловна, в холщовой торбе было у нее сено. Софья Гавриловна неожиданно растрогала Титаника. Титаник подождал старуху, взял с ее загорбка жалкий пучок сена и сказал:

– Машину бортовую возьму, слетаем в луга, Нюрке добудем питания на всю зиму.

Софья Гавриловна ладошку приставила козырьком – солнце готовилось кануть и заливало Урийск ослепительным светом.

– Бравый ты нонче казак, – сказала Софья Гавриловна со значением.

Но и сейчас Титаник ничего не понял. Он вошел в калитку, держа на отлете Нюркино довольствие. И весь двор обратил на него пристальное внимание. Титаник был польщен. Когда тебя любят и боготворят, это так приятно.

На огороде возился Серёнька, отнимая у парников оконные рамы: летом рамы спасали от ночных холодов раннюю завязь, но лето кончилось. Когда Серёнька увидел Титаника, в груди у него обмерло. Серёнька растерянно присел на корточки, ему хотелось крикнуть Вячика, но Вячика отослали за крупчаткой к хлебозаводу на велике, Вячика не было дома.

Серёнька будто хотел схоронить себя, сел прямо на землю и, не мигая, смотрел на Титаника. Титаник, широко осклабясь, вторично обещал Софье Гавриловне полуторку.

– Кружку козьего молока когда дашь для Славки, и то спасибо. Козье молоко греет увечным душой.

Двор заворуженно и молча смотрел на Титаника, а из укрытия смотрел на него Серёнька. На голове Титаника красовалась оранжевая, как солнце, фуражка Кати Черепановой.

Титаник вальяжно откланялся обществу. Придержав чужую фуражку, с полупоклоном ушел в сени. Следом раздался взрыв. То взвыла белугой тетя Марфа.

Красная фуражка вылетела во двор и, распугивая кур, колесом помчалась по траве. Коза Нюра сделала стойку, будто хотела боднуть фуражку.

Не помня себя, Серёнька выскочил вдруг из укрытия, схватил фуражку, как кошка взобрался на чердак, а оттуда через слуховое окно выметнулся на крышу и водрузил Катину ни в чем не повинную фуражку на голубиный шест. Голубей сманили со двора окраинные мальчишки, но шест остался и словно ждал своей судьбы.

Позже Серёнька пытался понять, что с ним, Серенькой, тогда происходило, и со стыдом думал о своем поступке. Титаник, обезумев, бегал по двору и хрипел с надрывом, словно ему ткнули финкой под левую лопатку.

Игнат перстом указал Титанику путь к звездам. Ломая перекладыны хлипкой пожарной лестницы, Титаник влез на чердак, продрался сквозь окно; и в сгустившихся сумерках соседние дворы увидели, как к небу карабкается человек в форме майора Советской Армии, как он трясет голубиный шест и, обломив его, ловит красный предмет и падает по скользящей щепе навзничь; и только старая береза – Боже, как много доброты бывает в неодушевленных лицах! – приняла Титаника в свое лоно, и майор на мгновение потерялся в бронзовой листве.

Береза-то и спасла Титаника. В то время как Серёнька, кляня и ненавидя себя, отлеживался в картофельной ботве за изгородью, а Софья Гавриловна молилась, обращая молитвы к закату за полотном железной дороги, а тетя Марфа, обломив ножку у табурета, все еще горела возмездием, а Игнат пощипывал струны для Маруси Безотказной, – береза, посаженная Серёнькиным отцом за день до фронта, молча обняла Титаника. Он медленно просеялся

сквозь ее гибкие ветви и теперь лежал у ее подножья, а желтые листья падали на его лицо. Наконец Титаник опомнился и сквозь листопад выкрикнул внятно:

– Простите, люди добрые, за позор!

Титаник привстал даже на колено, когда отыскал эти слова: «Простите, люди добрые, за позор», но силы оставили его, и он снова опустился на землю.

Серёньке пришлось бежать за «скорой помощью». Серёнька бежал и плакал, ему жалко было Титаника. Красную фуражку Маруся завернула в полотенце и унесла на вокзал.

1976

2. Из ранних рассказов

Люся выходит замуж

В. К-й

«Люся выходит замуж»... Эта строка из письма давнишнего приятеля-одноклассника привела его в диковинное состояние.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.